

Денис Ган
Наследники
Петра



Том I. Чужое тело

Наследники Петра.

Денис Ган

**Наследники Петра.
Том 1. Чужое тело**

«Автор»

2026

Ган Д.

Наследники Петра. Том 1. Чужое тело / Д. Ган — «Автор»,
2026 — (Наследники Петра.)

Январь 1725 года, Санкт-Петербург. Император Пётр I умирает. Империя замирает в преддверии борьбы за власть. В это смутное время в теле бедного подканцеляриста Ивана Шумилова приходит в себя наш современник, историк-архивист Виктор Стрельцов. Никто не ждёт чужака. Он не знает местных интриг, не умеет фехтовать и не помнит своего прошлого. Но он знает историю. И у него есть уникальный шанс — втереться в доверие к самому светлейшему князю Александру Даниловичу Меншикову. Раскрывая заговор Долгоруких и Голицына, создавая агентурную сеть «Канцелярия Дозора» и переживая первую дуэль, Шумилов доказывает: иногда знание будущего — единственное оружие против прошлого. Но изменит ли оно его собственную судьбу и историю державы российской?

© Ган Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Пробуждение	5
Глава 2. Чужое стадо	18
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Наследники Петра. Том 1. Чужое тело

Глава 1. Пробуждение

I

Сознание вернулось к нему не как вспышка, не как удар, а как медленная, мучительная волна, которая поднималась из какой-то самой глубокой, самой тёмной бездны, куда он был погружён, — и каждый новый подъём этой волны приносил с собой боль, звук, запах, и всё это сливалось в одно тягучее, невыносимое ощущение возвращения к жизни. Казалось, его вытаскивали из глубокого колодца за волосы, дёргая и царапая о края, и он не мог ни помочь, ни сопротивляться.

Сперва пришёл звук. Он был монотонным, тягучим, похожим на зауспокойное пение, которое он однажды слышал в детстве, когда хоронили старого соседа, — и тогда ему казалось, что эти голоса тянутся из самой вечности. Теперь они тянулись откуда-то снизу, приглушённые толстыми стенами, и в них было то особенное, неспешное отчаяние, которое бывает только в монастырских службах.

Затем возник запах. Смесь воска, ладана, сырой шерсти и ещё чего-то сладковатого, болезненного запаха, который бывает в комнатах, где долго лежит тяжелобольной и где сама тишина пахнет умиранием. И только потом, когда звук и запах уже вошли в него и стали частью его существа, пришла боль.

Она пульсировала в затылке, растекалась по позвоночнику, отдавалась в висках при каждом новом ударе сердца, словно кто-то невидимый и жестокий бил в колокол у него внутри черепа. Виктор попытался поднять руку, но не смог. Тело не слушалось. Оно было чужим — неправильной длины, неправильного веса, с одеревеневшими мышцами и, ватной слабостью в суставах, которая бывает у людей, пролежавших без движения много дней. Он попытался открыть глаза — веки поддались с трудом, будто их склеили чем-то тягучим и липким.

II

Потолок над ним оказался низким, сводчатым, сложенным из потемневшего кирпича который, как знал теперь Виктор, жгли в прошлом где-то на берегах Невы и складывали наспех, торопясь строить новую столицу. Масляная лампада в углу отбрасывала дрожащий оранжевый свет, и тени от неё плясали по стенам, как беспокойные духи. Пение доносилось откуда-то снизу, приглушённое толстыми стенами, — мужские голоса, низкие, размеренные, тянули что-то на незнакомом языке. Не на церковнославянском — Виктор знал его по научным публикациям, по тем долгим часам, которые провёл в архивах, разбирая древние рукописи, — но на каком-то другом, похожем и одновременно чужом.

Он скосил глаза. Рядом с постелью стоял грубо сколоченный стол — из тех, что делают монастырские плотники, не заботясь о красоте, а только о крепости. На столе стояла глиняная миска с какой-то тёмной жидкостью, и огарок свечи в медном подсвечнике, и ещё — стул с высокой спинкой, а на спинке висел камзол тёмно-зелёного сукна с потускневшим серебряным шитьём. Пол был из широких досок, щели между ними забиты паклей — от такой знакомой, такой обыденной заботы о тепле, которая была чужда его веку, но здесь, в этом холоде, казалась единственно важной. Окно — узкое, забранное какими-то полупрозрачными пластинами в свинцовом переплёте — почти не пропускало света, и Виктор понял, что либо на дворе ночь, либо зима, либо и то и другое вместе.

Он закрыл глаза и попытался вспомнить.

III

Последнее, что сохранила память, было таким ярким, таким обыденным, что теперь, в этой странной келье, оно казалось сном, приснившимся другому человеку. Он сидел в архиве,

в читальном зале РГАДА — того самого Российского государственного архива древних актов, где пахло пылью и старыми переплётками, где время текло иначе, чем на улице, где каждая бумага была дверью в прошлое. Перед ним лежали подлинные ведомости Камер-коллегии за 1724 год. Он работал над докторской — исследовал финансовые механизмы петровской эпохи, ту самую логику, ту систему подушных сборов, которая заставляла тогдашних чиновников ломать головы, а крестьян — разорять свои дворы. Фамилия Меншикова всплывала то и дело, как и положено: светлейший князь в те времена запускал руку во все пироги, и каждый, кто брался за финансовые документы, рано или поздно упирался в его след.

Потом был обеденный перерыв. Он вышел на улицу — на Большую Пироговскую, где шумели машины и пахло бензином, где небо было серым, а люди — спешащими. Пошёл за кофе и бутербродом, как делал это каждый день, не думая ни о чём важном. Переходил дорогу. Кажется, видел боковым зрением чёрный джип, летящий на красный А дальше — темнота.

ДТП. Кома. Вероятно, он в больнице — в реанимации, где стены белые, а под потолком горят не лампы, а люминесцентные лампы, где пахнет не ладаном, а антисептиком. Но эта комната не походила ни на одну больничную палату, которые Виктор видел за свою жизнь. И камзол — откуда, чёрт возьми, в реанимации камзол восемнадцатого века? И это пение, похожее на молитву, и лампада, и сводчатый потолок из старого кирпича

Всё это было так неправдоподобно, так дико, что первым побуждением Виктора было решить, будто он всё ещё спит, что его сознание бредит в коме, рисуя странные, бессвязные образы. Но боль — боль была слишком настоящей, слишком телесной, чтобы быть сном.

IV

Дверь отворилась, но с таким тяжёлым, долгим скрипом, что этот звук, казалось, заполнил собой всю комнату, не оставив места ни для чего другого. На пороге стоял человек в длинном тёмном одеянии, в низко надвинутой скуфейке — монах, понял Виктор, хотя никогда в жизни не видел живого монаха так близко. Бородатый, сутулый, с морщинистым лицом, изрезанным мелкими морщинами, которые оставляет не возраст, а привычка к постоянному напряжённому труду, и с взглядом настороженным, как у человека, который привык ждать от мира подвоха.

Увидев, что Виктор смотрит на него открытыми глазами, — не шурится, не мечется в бреду, а именно смотрит, осмысленно и даже требовательно, — монах вздрогнул, мелко, поптичь, перекрестился широким крестом и отступил на шаг, словно испугавшись этого возвращения к жизни.

— Очнулся? — произнёс он надтреснутым голосом, в котором было и удивление, и облегчение, и ещё что-то похожее на страх. Язык был русский — Виктор узнал его, — но с каким-то непривычным выговором, певучим и твёрдым одновременно, таким, какой бывает у людей, которые читают церковные книги вслух каждый день, а с миром говорят редко. — Слава те, Господи. А мы уж соборовать хотели. Третью неделю лежишь в беспамятстве, и лекарь говорил — не встанешь.

Третью неделю Виктор попытался осмыслить эти слова, но они не укладывались в голову. Как можно лежать без сознания три недели и очнуться в чужом теле? Или в своём, но катастрофически изменённом? Он открыл рот, чтобы спросить, но горло перехватило — сухость была такой, что язык казался куском толстой, размокшей бумаги. Собственные губы не слушались, и первый звук, который он издал, был похож на хрип умирающего.

— Где я? — прохрипел он, и этот голос — низкий, хриплый, не его — испугал его больше, чем всё остальное.

— В келье, — ответил монах, и в его голосе появилась та спокойная, ровная уверенность, которая бывает у людей, привыкших отвечать на один и тот же вопрос много раз. — При Александро-Невской обители. Ужо думали, отойдёшь. Лекарь сказывал — горячка. А ты, зная, крепок. Господь не прибрал. — Он помолчал, покачал головой, и в этом покачивании была та

особая, старческая задумчивость, когда человек вспоминает что-то давнее и сокровенное. — Князь присылал человека справляться, два раза присылал. Велел дать знать, коли очнёшься.

— Князь? — переспросил Виктор, и в этом вопросе была и надежда, и страх, и то странное, почти детское любопытство, которое заставляет нас спрашивать даже тогда, когда ответ может оказаться страшным.

— Светлейший князь Меншиков, кто ж ещё. — Монах произнёс это имя с таким трепетом, с каким произносят имена тех, от кого зависит жизнь и смерть. — Ты у него в милости, знать. Или в долгу. — Он снова перекрестился, коротко, машинально, как человек, для которого крест — это привычка, а не молитва. — Лежи. Сейчас принесу взвару. Пить тебе надобно, а говорить — погода. Язык сначала отмокнет, а там и слова придут.

Он вышел, осторожно притворив дверь, и Виктор остался один в этом полумраке, под этой низкой сводчатой стеной, с этой лампадой, которая продолжала дрожать и бросать тени на потолок.

Меншиков Александр-Невская обитель Третья неделя без памяти Всё это было так дико, так невероятно, что мозг отказывался принимать происходящее за реальность, но параллельно, на каком-то другом уровне — профессиональном, исследовательском, том самом, который привык сопоставлять факты и делать выводы, — уже начал работать.

Александр-Невский монастырь, основанный Петром в 1710 году, действительно существовал, и в середине 1720-х там мог находиться человек в тяжёлом состоянии. Монастырская братия, лекарь, посланцы Меншикова — всё это складывалось в непротиворечивую картину. Бредовую, невозможную, противоречащую всему, что он знал о законах природы, — но непротиворечивую внутри себя.

Если это не бред.

V

Виктор усилием воли заставил себя поднять руку — левую, потому что правую было труднее, — и поднёс её к лицу. И замер, потому что рука была не его.

Он знал свои руки. Он знал каждую линию, каждый шрам, ту особенную форму ногтей, которая передалась ему от отца, и ту длину пальцев, которую его мать когда-то называла аристократической. Эти же пальцы были короче, грубее, с загрубевшей кожей на подушечках, с той особенной желтизной на указательном и среднем, которая бывает у курящих, — но курильщиком он не был. А ещё был шрам — тонкая белая полоска, пересекавшая основание большого пальца, старый, давно заживший шрам, которого у Виктора Стрельцова никогда не было. И на среднем пальце темнел след от перстня — светлое кольцо на загорелой коже, — след, который бывает у тех, кто носит одно и то же украшение годами, не снимая. Обручального кольца не было, и это почему-то тоже бросилось в глаза.

Он попытался сесть. Тело отозвалось болью в пояснице, тупой, ноющей болью, которая бывает у людей, пролежавших слишком долго на жёстком, — и головокружением, таким сильным, что комната поплыла перед глазами, но всё же подчинилось. Виктор спустил ноги с постели — деревянного топчана с соломенным тюфяком, который, как он теперь понимал, был единственной роскошью, доступной монастырскому больному, — и осмотрел себя.

Длинная холщовая рубаха до колен, грубая, колючая, пахнувшая тем же ладаном, что и вся келья. Худые, жилистые ноги с выступающими коленными чашечками — ноги человека, который много ходил и плохо ел. Босые ступни, посиневшие от холода. Волосы, упавшие на лоб, оказались тёмно-русыми, почти без седины, и гораздо длиннее, чем он привык носить, — спутанные, грязные, сосульками свисающие на плечи. Он вскинул руку к лицу и провёл по щеке: по щекам и подбородку кололась как минимум трёхнедельная щетина — жёсткая, густая, совершенно чуждая его гладко выбритому лицу.

Он в чужом теле. Или в своём, но катастрофически изменённом? Первое объяснение противоречило всему, что он знал о мире, — всему, чему его учили в университете, что он

читал в книгах и видел своими глазами. Второе оставляло слишком много вопросов: шрам, перстень, обстановка, это чужое имя, которое он ещё не знал, — все эти детали не могли ему привидеться, не могли быть плодом больного воображения.

Нужно было зеркало. Но в этой келье зеркала не было, и Виктор понял, что в XVIII веке зеркала были роскошью, доступной не всякому, тем более — не монастырскому больному.

Он медленно встал, держась за стену. Пол качнулся под босыми ступнями, желудок сжал болезненный спазм — тело молило о пище и питье, требуя того, чего у него не было уже много часов, — но Виктор сделал шаг, другой, третий, добрался до стола, на котором стояла миска. В тёмной жидкости плавали размякшие травы — какие-то корни, стебли, листья, всё это было неаппетитно, пахло горько и странно. Но он поднёс миску к губам и сделал глоток. Горьковато, но терпимо. Второй глоток был легче, третий — ещё легче, и он выпил почти половину, чувствуя, как тепло разливается по внутренностям.

На столе, рядом с огарком свечи, лежала небольшая книга в потёртом кожаном переплёте с медными застёжками. Виктор машинально, не отдавая себе отчёта в том, зачем он это делает, открыл её. «Арифметика» Магницкого — 1703 год издания, первое печатное математическое руководство в России, та самая книга, по которой учили навигаторов и артиллеристов, по которой учился сам Ломоносов, называвший её «вратами учёности». Он помнил эту книгу по описаниям, по тем диссертациям, которые читал в аспирантуре, но никогда не держал в руках. Форзац был исписан мелким, убористым почерком — тем особенным почерком XVIII века, где буквы ещё не устоялись, где «ять» и «ер» соседствуют с непривычными глазу начертаниями. Он поднёс книгу ближе к свече и, шурясь, с трудом, по слогам, разобрал:

«Сия книга принадлежит подканцеляристу Канцелярии городских дел Ивану Григорьеву сыну Шумилову. Куплена на собственные деньги в Санкт-Петербурге генваря 5-го дня 1724 года».

Шумилов. Иван Григорьевич Шумилов. Подканцелярист, мелкий чиновник, один из тысяч, которые переписывали бумаги, составляли реестры, ездили с поручениями и умирали в безвестности. Виктор попытался вспомнить эту фамилию в контексте исторических источников — и не смог. Ни в одном из изученных им документов петровской эпохи она не встречалась. Ни в ведомостях Камер-коллегии, ни в списках чиновников, ни в архивах Сената. Обычный человек, каких были тысячи.

Теперь этот человек — он. Или он — этот человек?

VI

Дверь снова отворилась, и тот же монах — отец Никодим, как позже узнал Виктор, но сейчас он ещё не знал его имени, — вошёл с глиняной кружкой, от которой поднимался пар, и с куском ржаного хлеба на деревянной тарелке. Хлеб был тёмным, почти чёрным, с грубыми отрубями, но запах от него шёл такой, что у Виктора свело желудок.

— Сядь, — велел монах строго, и в этом «сядь» было столько привычной команды, столько многолетней привычки распоряжаться в своей келье, что Виктор не посмел ослушаться. — Не держись на ногах, упадёшь — костей не соберёшь. Выпей сперва, потом уж расспрашивай. Вопросы никуда не уйдут, а ты — можешь убежать. Туда, откуда не возвращаются.

Виктор безропотно опустился на край топчана — жёсткий, неудобный, но сейчас казавшийся самым удобным местом на земле, — принял кружку. Взвар оказался тёплым, травяным, с мёдом — сладковатым, не таким, как в его веке, а тем особенным, приторным мёдом, который пахнет липой и летом. Он пил мелкими глотками, чувствуя, как тепло разливается по телу, как жизнь медленно, нехотя возвращается в эти чужие, непослушные мышцы, как голова перестаёт кружиться, а боль в затылке становится терпимее. Потом принялся за хлеб — грубый, с отрубями, почти без соли, но на удивление вкусный, тот самый вкус, который, должно быть, помнили все русские люди этого века, для которых хлеб был не просто едой, а жизнью.

Монах стоял над ним, скрестив руки на груди, и смотрел внимательным, спокойным взглядом, который бывает у людей, привыкших ждать и никуда не спешить. В этом взгляде не было ни любопытства, ни участия — только терпеливое ожидание, когда больной сделает то, что должно.

— Как звать-то тебя? — спросил Виктор, прожевав хлеб и сделав ещё глоток взвара.

— Отец Никодим. Келарь здешний, — ответил монах, — А тебя, значит, Иван? Иван Шумилов, коли бумаги не врут. Да ты и сам это знаешь.

— Знаю, — сказал Виктор, и этот ответ был ложью, но ложью необходимой, ибо сказать правду — «я не знаю, кто я, потому что я не тот, за кого себя выдаю» — было бы безумием.

Отец Никодим кивнул, и в этом кивке не было ничего, кроме констатации факта.

— Привезли тебя на монастырской телеге, без памяти, в одной рубаше, — сказал он, и голос его был ровен, как у человека, который рассказывает не о чуде, а о самом обыденном деле. — При тебе были бумаги, сургучная печать и кошель с серебром. Документы я князьему человеку передал — не моё это дело, в чужие бумаги нос совать. Серебро — в сохранности, отдам, когда окрепнешь. Ты скажи, чай, помнишь ли, откуда ты и что с тобой приключилось? Или горячка всё из головы вымела?

Вопрос был ожидаемым — тем самым вопросом, который рано или поздно задаёт всякий, кто видит человека, очнувшегося после долгой болезни. И Виктор был к нему готов — настолько, насколько вообще может быть готов человек, проснувшийся в чужом теле, в чужом веке, в чужой жизни.

— Помню мало, — ответил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно, без дрожи, и чтобы непривычный выговор — тот самый, певучий и твёрдый, который он слышал от отца Никодима, — не слишком резал собственный слух. — Служу в Канцелярии городских дел. А что случилось будто пелена. Горячка, верно, память отшибла. Осталось только то, что было до неё, да и то не всё.

Отец Никодим понимающе покивал.

— Бывает, — сказал он. — Горячка — она и разум мутит, и тело сушит, и душу, того гляди, из человека вынет. Ты вот что: дня два-три ещё полежи. Не торопись на волю, не торопись к делам. Я велю послать человека к князю, доложить, что очнулся. А там уж как он решит. Может, призовет к себе, может, ещё полежать велит.

— Князь присылал? — спросил Виктор, хотя ответ уже знал. Ему нужно было услышать его ещё раз, чтобы утвердиться в той зыбкой, невероятной реальности, которая разворачивалась перед ним.

— Дважды присылал молодца из своих, — сказал отец Никодим, и в его голосе появилась осторожность, с какой говорят о сильных мира сего даже те, кто отрёкся от мира. — Фамилию не сказывал, но по платью — не из простых, ох не из простых. Спрашивал, жив ли ты, не заговаривался ли в беспамятстве, не поминаешь ли кого лишнего. — Монах чуть нахмурился, и морщины на его лбу стали глубже. — Ты б поосторожнее, сыне. Светлейший, он милостив, пока польза есть. А как польза кончится — отворачивается быстрее, чем собака от блюда без мяса.

Он не договорил, но Виктор понял. Он понял даже больше, чем хотел сказать отец Никодим, потому что знал — не из слухов, не из сплетен, а из документов, из многолетних исследований, из тех самых ведомостей Камер-коллегии, которые он изучал в своём времени, — знал историю реального Меншикова. Знал его взлёт — от торговца пирогами, бегавшего по московским улицам с лотком, до светлейшего князя, генералиссимуса, фактического правителя империи при Екатерине I. Знал его падение — ссылку в Берёзов, смерть в неизвестности, вдали от двора, от власти, от всего, ради чего он жил. Знал, что всё это начнётся в самое ближайшее время — через дни, через недели, через годы. Если только уже не началось.

VII

Отец Никодим ушёл, забрав пустую кружку и оставив на столе недоеденный кусок хлеба — как запас на следующий раз. Виктор лёг обратно, но не потому, что хотел спать. Глаза его были открыты, и он смотрел в потолок — на этот низкий, сводчатый, сложенный из потемневшего кирпича потолок, который, казалось, давил на него всей тяжестью восемнадцатого века. Ему нужно было подумать.

Итак, что он знает точно? Что он находится в России, в Петербурге, в Александро-Невском монастыре. Что на дворе — январь 1725 года, самое начало года, потому что книга Шумилова куплена в январе, а сам он, судя по всему, заболел и впал в беспамятство спустя недолгое время. Что император Пётр I болен — уже болен или заболеет со дня на день, — и в реальной истории, которую Виктор знал как свои пять пальцев, Пётр умрёт 28 января (8 февраля по новому стилю) 1725 года. Если дата верна — а она не могла быть неверна, ибо смерть Петра была событием, зафиксированным в сотнях документов, — до кончины императора остаются считанные дни. Может быть, недели.

А после смерти Петра начнётся то, что историки назовут эпохой дворцовых переворотов, но что для людей, живших в ту эпоху, было просто борьбой за власть — кровавой, грязной, безжалостной. Две партии: одна — за Екатерину, вдову императора, женщину неграмотную, но умную и волевою, во главе с Меншиковым; вторая — за малолетнего Петра Алексеевича, внука Петра, ребёнка, которого родовитая аристократия — Долгорукие, Голицыны, Репнины — хотела сделать орудием своей мести выскочкам. Меншиков победит — на время. Он возведёт на трон Екатерину и станет некоронованным правителем империи. На два года. Потом Екатерина умрёт — тоже внезапно, тоже загадочно, как умирали многие в те времена, — на престол взойдёт Пётр II, и дни Меншикова будут сочтены. Ссылка, опала, смерть в берёзовской глуши, вдали от всего, что он любил и чем дорожил.

Это — реальная история. Та, которая случилась. Та, которую Виктор изучал годами, которую знал во всех подробностях, от дат до имён, от сумм взяток до количества войск.

Но теперь здесь есть он.

Виктор Стрельцов — тридцатилетний историк, кандидат наук, специалист по петровской эпохе, человек, который провёл в архивах больше времени, чем в обществе живых людей, который знал этот век лучше, чем свой собственный. В теле мелкого подканцеляриста, который, судя по всему, успел чем-то заинтересовать самого Меншикова — тем самым Меншикова, чьё падение он видел на сотнях страниц документов. И это даёт ему шанс — единственный, невероятный, невозможный, тот самый шанс, о котором мечтает каждый историк, засыпая над старыми бумагами, — шанс вмешаться. Не просто наблюдать, не просто фиксировать, а менять.

Но прежде чем менять историю, её нужно понять изнутри. Не из документов — из живых лиц, из разговоров, из интриг, которые плетутся не на бумаге, а в гостинных и кабинетах. Из того самого воздуха, которым дышали эти люди, из тех самых страхов, которые двигали ими, из той самой надежды, которая заставляла их рисковать головами.

Отец Никодим ушёл, забрав кружку. Виктор лежал в полумраке и смотрел на дрожащий огонёк лампы — на этот маленький, упрямый огонь, который, казалось, боролся с темнотой и никак не мог её победить. Он не знал ещё одного: как именно он попал в это тело, что стало с прежним хозяином — с тем Иваном Григорьевичем Шумиловым, чья книга лежала на столе и чья рука теперь принадлежала ему. Ответа на этот вопрос у него, скорее всего, не будет никогда. Оставалось принять правила игры. И начать в неё играть.

VIII

Прошёл день, потом другой. Виктор лежал, ел, пил взвар, пытался ходить по келье и постепенно осваивался в новом теле. Тело слушалось всё лучше — ноги перестали подкашиваться, голова перестала кружиться, боль в затылке ушла до тупого, почти привычного гула. Мышцы, ещё вчера казавшиеся чужими и непослушными, теперь слушались, как свои. И это было самое странное: ощущение, что это тело — его, что оно всегда было его, что он родился

в нём и прожил в нём тридцать лет, а вся прежняя жизнь — архивы, университет, Москва, двадцать первый век — была только сном, долгим, подробным, невероятно реальным сном.

Но это было не так. Он знал, что это не так, потому что слишком хорошо помнил ту жизнь — до последнего кофе, до последней страницы диссертации, до последнего разговора с научным руководителем. Память о ней была ярче, чем память о любых событиях этого времени, и она не тускнела, не уходила, а, напротив, становилась всё отчетливее, как будто он сам цеплялся за неё, боясь потерять.

На третий день он уже мог ходить по келье без посторонней помощи — медленно, держась за стену, но без головокружения и без той унижительной слабости, которая заставляла его хвататься за стул. На четвёртый день он вышел в коридор. Монахи, попадавшие навстречу, поглядывали на него с опасливым любопытством — так смотрят на человека, который вернулся с того света и, возможно, принёс с собой что-то нездешнее, — но не заговаривали. Кормили исправно: каша, хлеб, изредка — варёная рыба, и Виктор поглощал всё с жадностью, словно восстанавливал не только силы, но и связь с этим миром, с этой жизнью, с этим телом. Тело Шумилова постепенно приходило в норму — худое, жилистое, выносливое, привыкшее к холоду и скромной пище, — и Виктор чувствовал, как оно наполняется силой, как возвращается к жизни, как принимает его, как признаёт своим.

Руки, как выяснилось, были руками человека, привыкшего писать — на среднем пальце правой, том самом, где у Виктора Стрельцова была мозоль от шариковой ручки, здесь была старая чернильная мозоль, почти стёршаяся за время болезни, но всё ещё заметная. И это совпадение — что у двух разных людей, разделённых тремя веками, была одна и та же привычка, одна и та же профессия, одни и те же инструменты, — было почти мистическим, почти невероятным, но Виктор не стал задумываться об этом. Слишком много было другого, что требовало его внимания.

IX

На пятый день после пробуждения в монастырь прибыл посланец от Меншикова.

Это случилось утром, когда Виктор как раз сидел в трапезной — маленькой, тесной комнате с низким потолком и длинным столом, за которым монахи ели свою скудную пищу. Он ел кашу, не чувствуя вкуса, потому что мысли его были далеко — он думал о том, что будет, когда он выйдет отсюда, что он скажет, как станет вести себя, как сможет убедить окружающих, что он — тот самый Иван Шумилов, подканцелярист, а не чужак, свалившийся из другого времени.

Отец Никодим вошёл в трапезную не спеша, как входил всегда — с той размеренной, спокойной походкой, которая бывает у людей, знающих, что их никто не торопит. Но лицо его было озабоченным, и в голосе, когда он заговорил, было то напряжение, которое бывает у людей, привыкших к спокойной жизни и внезапно столкнувшихся с миром больших людей и больших дел.

— За тобой, Иван Григорьевич, — сказал он негромко, но так, что все монахи за столом подняли головы. — Княжеский человек. Ждёт во дворе. Велел собираться. Не мешкай, такие люди ждать не любят.

Виктор отставил миску — каша осталась недоеденной, но он не чувствовал ни голода, ни сожаления, — поднялся. Сердце его стучало быстрее обычного, и этот стук отдавался в висках, в горле, в кончиках пальцев, но он не позволил себе волнения. Он вспомнил всё, что знал о XVIII веке, о чиновничьей субординации, о том, как должен вести себя мелкий служащий перед лицом сильных мира сего. Подканцелярист не должен выказывать страх перед теми, кто выше, — страх унижает и делает уязвимым. Но и спокойствие не должно походить на дерзость, ибо дерзость наказывается быстрее, чем трусость. Нужно войти в роль, и войти быстро.

Он переоделся в ту одежду, что нашлась в келье: те самые тёмно-зелёный камзол с потускневшим серебряным шитьём, простые суконные штаны, заношенные, но ещё крепкие, сапоги — добротные, из толстой кожи, явно не новые, но сношенные по ноге. Кружевной шейный

платок — жабо — был сложен аккуратно, но пожелтел от долгой лёжки, и Виктор, повязав его как сумел, надеялся, что выйдет не слишком небрежно. Он не знал моды этого времени так, как знал её профессиональный историк, — в деталях, в оттенках, в тканях, — но он знал достаточно, чтобы не совершить грубой ошибки.

Отец Никодим проводил его до ворот и на прощание перекрестил — широко, истово, как крестят уходящих в дальнюю дорогу.

— Будь осторожен, сыне, — сказал он негромко. — При дворе, говорят, змеи выползают из всех щелей. Ты человек новый, неопытный. Гляди в оба. И помни: лучше промолчать, чем сказать лишнее.

— Спасибо, отче, — ответил Виктор, и в этом ответе была та искренняя благодарность, которую он не играл, а чувствовал.

Во дворе монастыря стояли сани — широкие, с высокими полозьями, запряжённые парой лошадей. Они перебирали ногами и фыркали, выпуская клубы пара в морозный воздух. Возница в нагольном тулупе, с красным от холода лицом, курил трубку и смотрел на монастырские стены с тем равнодушием, с каким смотрят на вещи, которые видели сотни раз. Рядом с санями, заложив руки за спину, прохаживался человек в добротной шубе, крытой синим сукном — такой шубе, каких у монахов не бывает, а у мелких чиновников — тем более.

На вид ему около сорока, может, чуть больше. Он был брит — так гладко, как не всегда удавалось цирюльникам этого времени, — с волосами, гладко зачёсанными назад и стянутыми в хвост на затылке. Пальцы его, сложенные за спиной, были унизаны перстнями — серебряными, с тёмными камнями, без излишней вычурности, но с той простотой, которая стоит дороже любого золота. Лицо его было холёным, но не расслабленным — это было лицо человека, который давно и плотно занимается чужими делами, привык держать рот закрытым и знает, что слова — это оружие, которое можно использовать и против других, и против себя.

— Шумилов? — спросил он, оглядев Виктора с ног до головы, оценивающим взглядом, который, казалось, прощупывал его насквозь, отмечая каждую деталь: и потёртость камзола, и желтизну жабо, и то, как он держится, и то, как он дышит. — Я — Гурий Волков, секретарь его светлости. Велено доставить вас в дом светлейшего на Васильевском. Князь желает видеть вас незамедлительно. Садитесь. Негоже заставлять ждать того, кто привык повелевать.

Виктор молча кивнул, забрался в сани — неловко, потому что тело всё ещё помнило болезнь, — и устроился на соломе, подложенной для тепла. Волков сел рядом, взмахнул рукой, и возница, дёрнув вожжи, тронул лошадей. Сани, скрипя полозьями по утопанному снегу, покатали со двора, оставляя за собой две ровные, гладкие колеи.

В лицо ударил морозный ветер да такой сильный и такой холодный, что у Виктора перехватило дыхание. Он кутался в старый плащ, подарок отца Никодима, и смотрел по сторонам, стараясь не выдать потрясения. Ибо то, что он видел, было не картиной, не гравюрой, не реконструкцией в музее — это была жизнь. Петербург начала 1725 года.

Узкие улицы, мощённые брёвнами которые клали прямо на землю, и они прогибались под колёсами, создавая ту особую, неровную дорогу, которая была привычна каждому жителю этого города. Деревянные дома с высокими крыльцами, с резными наличниками, с дымом, идущим из труб прямо в низкое, серое небо. Кое-где уже высились каменные особняки — творения Трезини и его учеников, первые ласточки европейской архитектуры на русской почве. Прохожие в длиннополых кафтанах и тулупах, с бородами и без, с шапками на головах, спешащие по своим делам. Женщины в салопх и платках, с корзинами в руках, с лицами, обветренными и красными от мороза. Солдаты в зелёных мундирах с красными обшлагами — в тех мундирах, которые он видел на старых гравюрах и которые теперь двигались, дышали, жили. Лавки с нарисованными вывесками такими яркими и такими простыми, что они казались детскими рисунками. Дым из печных труб, запах дёгтя, конского навоза и сырой древесины — тот

самый запах, который, должно быть, запомнил каждый, кто когда-либо жил в старом русском городе.

И над всем этим — низкое, серое, тяжёлое небо, с которого время от времени сыпал мелкий колючий снег, такой же колючий и холодный, как сама эта эпоха.

Всё это было знакомо Виктору по документам, по гравюрам, по архивным планам и чертежам. Он знал этот город лучше, чем любой его современник, — знал его улицы, его здания, его историю, его судьбу на триста лет вперёд. Но видеть это вживую, слышать, вдыхать, чувствовать под ногами — было совершенно другим. Это было то самое чувство, которое испытывает человек, всю жизнь изучавший карты далёких стран и вдруг оказавшийся на их берегу. Только в сто раз сильнее.

— Вы, говорят, память повредили? — негромко спросил Волков, глядя куда-то вперёд, поверх голов лошадей. Но Виктор знал — такие вопросы не задают просто так. За каждым словом этого человека стоял расчёт, и каждое слово могло быть ловушкой.

— Так и есть, — ответил Виктор, стараясь, чтобы голос его звучал ровно и спокойно, без предательской дрожи, которая рвалась наружу. — Горячка. Помню немного. Что было до болезни — урывками. А что после — только то, что видел в келье.

— Князю это не понравится, — сказал Волков. — Он вас, знаете ли, на особом счету держал. Не каждого чиновника удостоивают такого внимания.

— На особом? — переспросил Виктор, и в этом переспросе было искреннее удивление. — Я всего лишь подканцелярист, господин Волков. Чиновник четырнадцатого класса, если не ошибаюсь. Таких тысячи.

— Бросьте, — сказал Волков, и в этом «бросьте» было столько насмешки и столько уважения одновременно, что Виктор невольно напрягся. Волков наконец взглянул на него — прямо, в упор, острым, оценивающим взглядом, который видел не только лицо, но и мысли. — Не скромничайте, господин Шумилов. Вы вели опись конфискованных имений по новгородскому делу — тому делу, где полетели головы. И нашли там то, чего другие не видели. Не бумаги — дыры в бумагах. Князь тогда изволили заметить — я сам слышал, — он сказал: «Этот малый глядит не на бумагу, а сквозь неё». Так что память вам лучше восстановить, и побыстрее. Понадобится. Очень понадобится!

Сани свернули на набережную, и Виктор увидел Неву. Река была широкой — такой широкой, что другой берег казался далёкой полосой, — и замёрзшей, покрытой толстым слоем льда, запорошенной снегом. Через реку, от берега до берега, тянулись цепочки следов и санных полозьев — люди ездили по льду, как по дороге, и это было так естественно для этого времени и так странно для его века, что Виктор невольно замер. На том берегу темнели корпуса Адмиралтейства, увенчанные высоким шпилем, и Петропавловский собор, чей шпиль поднимался к небу, как игла, пронзающая облака.

Он смотрел на этот город — на город своей мечты, на город, который он изучал двадцать лет, на город, который он знал лучше, чем любой живущий в нём человек, — и думал о том, что через месяц здесь всё начнёт меняться. Империя останется без императора. Меншиков начнёт свой стремительный взлёт — и своё не менее стремительное падение. А он, Виктор Стрельцов — или теперь уже Иван Шумилов, подканцелярист, — затерянный в теле мелкого чиновника, затерянный в этом холодном, жестоком, прекрасном веке, должен будет решить: на чьей он стороне и какую цену готов заплатить за то, чтобы изменить ход истории.

Х

Дом Меншикова на Васильевском острове он узнал сразу — знаменитый особняк, первое каменное здание в этом районе, построенное итальянскими мастерами, дворец, который мог соперничать с лучшими европейскими образцами. Высокое крыльцо с колоннами, лепнина на фасаде, гербы над дверьми — всё это было так, как он помнил по гравюрам и фотографиям, но вживую оно казалось больше, внушительнее, тяжелее. У входа стоял караул — солдаты в зелё-

ных мундирах, с ружьями у ноги, с лицами, застывшими в спокойном, ничего не выражающем внимании, которое бывает у людей, привыкших стоять на посту часами. Завидев Волкова, они вытянулись и отдали честь.

— Идём, — бросил секретарь, легко сбегая с саней. В этом «идём» было столько привычной команды, что Виктор не посмел медлить.

Он поднялся по широкой лестнице, стараясь не выдать волнения, стараясь, чтобы его шаги были твёрдыми, а дыхание — ровным. Дом внутри оказался обставлен с той смесью европейской роскоши и азиатского размаха, которая так поражала иностранцев в петровских вельможах: гобелены, выписанные из Франции, соседствовали с изразцовыми печами, сложенными русскими мастерами; венецианские зеркала в резных рамах отражали собольи шкуры, небрежно разложенные на дубовых лавках; хрустальные люстры висели над простыми сосновыми столами, крытыми бархатом. Всюду сновали слуги — в ливреях, без ливрей, с подносами, с бумагами, с докладами, — и все они, завидев Волкова, прижимались к стенам, давая ему дорогу.

Волков провёл его через анфиладу комнат — гостиных, приёмных, кабинетов, — и остановился перед высокой резной дверью, украшенной золочёными орлами.

— Ждите, — сказал он коротко и скрылся за дверью, оставив Виктора одного в длинном, полуосвещённом коридоре.

Прошло минуты три, показавшиеся часом. Виктор стоял, стараясь не переминаться с ноги на ногу, не оглядываться по сторонам, не выдавать того, что происходило у него внутри. Он смотрел на дверь, за которой сейчас решалась его судьба, и думал о том, что Меншиков, которого он увидит через мгновение, — это не портрет на гравюре, не описание в книге, не образ, созданный воображением. Это живой человек. Человек, от которого зависит жизнь и смерть. Человек, который через несколько дней станет самым могущественным человеком в России — на два года, всего на два года, но какие это будут два года

Дверь отворилась, и Волков, высунувшись, коротко бросил:

— Входите. Князь вас примет. И помните: говорите только то, о чём спросят. Лишнего не добавляйте.

Виктор перешагнул порог.

XI

Кабинет светлейшего князя огромен — так огромен, что потолок терялся в полумраке, несмотря на два десятка свечей в массивной люстре, свисавшей с потолка. Свет этих свечей не разгонял темноту, а только подчёркивал её, создавая странную, зыбкую атмосферу, в которой тени двигались сами по себе, независимо от людей. У дальней стены высился письменный стол чёрного дерева, заваленный бумагами, картами, книгами, чертежами. Везде, куда ни кинь взгляд, были бумаги — на столе, на стульях, на полу, на подоконниках. Казалось, князь не работал с ними, а жил среди них, как живут среди леса или моря.

У окна, повернувшись спиной к свету, стоял высокий человек в домашнем камзоле из тёмно-синего бархата. Виктор узнал его сразу — хотя никогда не видел ни одного прижизненного портрета, которые сохранились от той эпохи только в копиях и гравюрах, — узнал по той особой, могучей осанке, по тому повороту головы, по тому, как он стоял, заложив одну руку за спину. Князь Александр Данилович Меншиков.

Он был именно таков, каким его описывали современники: высок — почти на голову выше среднего человека, широкоплеч, с крупными, даже грубоватыми чертами лица, которые, однако, не делали его некрасивым, а, напротив, придавали ему ту мужественную, внушительную красоту, которая так ценилась в ту эпоху. Глаза его — серые, цепкие, с тем особенным, пронзительным выражением, которое равно могло означать и милость, и угрозу, — смотрели на Виктора в упор, и под этим взглядом хотелось опустить глаза, но нельзя было. Волосы, ещё почти не тронутые сединой, тёмно-русые, густые, были собраны в простой хвост на затылке,

без парика, без пудры — так, как носили дома, в кругу своих. На нём не было ни орденов, ни парадного платья, ни тех драгоценностей, которыми он любил украшать себя на выходах, — только камзол да перстень с крупным изумрудом на указательном пальце правой руки. Но власть, та самая власть, которая заставляла трепетать губернаторов и министров, ощущалась в каждой детали его облика. Она была в осанке, в повороте головы, в том, как он стоял, как дышал, как смотрел.

— Подойди, — произнёс он, и голос его — низкий, с лёгкой хрипотцой, но отчётливый, чеканивший каждое слово — заставил Виктора повиноваться прежде, чем он успел подумать.

Он сделал три шага вперёд и остановился — не ближе, чем требовало приличие, не дальше, чем позволяла смелость, — и поклонился, как умел, низко, но не подобострастно, так, как кланяются люди, знающие себе цену, но не забывающие о субординации.

— Ну, здравствуй, Иван Григорьевич, — сказал Меншиков, и Виктор почувствовал на себе его взгляд — тяжелый, медленный, ощупывающий, как щуп. — Мне доложили, ты чуть не помер. Горячка — скверная штука, я знаю. Сам через неё проходил в молодости, думал — конец. Но ты, я вижу, выкарабкался. Это хорошо. Плохо то, что ты, говорят, память потерял. Так?

— Так и есть, ваша светлость, — ответил Виктор, старательно, но без излишней старательности имитируя ту манеру речи, которую слышал в монастыре: певучую, твёрдую, с непривычными для его уха оборотами. — Помню немного. Службу свою помню, описи помню, вас, ваша светлость, помню — с той встречи, что была в ноябре. А что было после — провал. Как сквозь воду гляжу.

— А что именно помнишь из того, что было до? — Меншиков чуть прищурился, и в этом прищуре была такая внимательная, такая цепкая пытливость, что Виктору на мгновение показалось: князь видит его насквозь, видит, кто он на самом деле, видит всю его ложь. Но он заставил себя не отводить взгляд.

— Помню, что служу по городovým делам в Канцелярии. Что занимался описями конфискованных имений — новгородское дело. И что вы, ваша светлость, изволили тогда вызвать меня к себе и сказать, что я гляжу сквозь бумагу. — Виктор помолчал, собираясь с духом. — А больше — увы.

Меншиков усмехнулся — той невесёлой усмешкой, которая бывает у людей, привыкших получать от жизни всё, что они хотят, и вдруг столкнувшихся с тем, что не могут изменить.

— Интерес — сказал он, и в этом слове было столько оттенков, что Виктор не решился бы их перечислять. — Хорошее слово. Ты мне грамотку составил в ноябре — о том, сколько денег оседает в новгородских вотчинах мимо казны. Цифры вывел такие, что у Сената бы глаза на лоб полезли, если бы они умели удивляться. Я тогда подумал: вот человек, который умеет считать не только гроши в своей мошne, но и деньги в чужой. А тех, кто умеет считать, надо держать при себе. Ибо кто считает — тот видит. А кто видит — тот знает. А кто знает — того надо или целовать, или убивать. Я предпочитаю целовать, пока есть за что.

Он прошёлся вдоль стола — медленно, тяжело, как ходят люди, привыкшие к долгим думам, — взял в руки какую-то бумагу, мельком глянул на неё и бросил обратно, на грудь других.

— Но память твоя, Иван Григорьевич, сейчас мне без надобности. Память — это прошлое, а меня интересует будущее. Мне нужны твои глаза, уши и та твоя способность видеть то, чего другие не замечают. Справишься — останешься при мне, в моём ближнем кругу. Не справишься — вернёшься в свою канцелярию переписывать реестры до скончания века. И там тебя никто не вспомнит и не спросит. А здесь

Он не закончил фразу, и это незаконченное «здесь» повисло в воздухе, как занесённый топор.

Виктор молча кивнул, чувствуя, как сердце колотится где-то у горла, как кровь стучит в висках, как холодный пот выступает на спине под камзолом. Он понимал: вот он, тот самый момент выбора, о котором он думал, лёжа в монастырской келье. Сейчас, в первые же минуты разговора с человеком, от которого зависело всё, решается его судьба в этом мире. Меншиков не прощает ошибок — это он знал из истории. Но он также ценит ум. И, может быть, именно ум — единственное оружие, которое есть у Виктора в этом чужом, враждебном, прекрасном мире.

— Что прикажете делать, ваша светлость? — спросил он, поднимая глаза на князя, и в его голосе не было ни страха, ни наглости, а только спокойная готовность делать то, что нужно.

Меншиков чуть прищурился, словно решая, стоит ли продолжать разговор, стоит ли доверять этому человеку, который только что очнулся от смертельной болезни и, возможно, ещё не вполне в своём уме. И, видимо, решил, что стоит, потому что сказал — негромко, но так, что каждое слово ударило по ушам, как выстрел:

— Государь болен. Ты знаешь?

Виктор замер. Он знал. Он знал не просто «знал» — он помнил из своего времени, что болезнь Петра началась в январе 1725 года и закончилась смертью 28 января. Помнил каждую деталь: как император простудился, спасая утопавших солдат в ледяной воде, как слег, как метался в жару, как лекари разводили руками, как он, за несколько часов до смерти, велел позвать дочь Анну и не успел ничего сказать. Но что знал об этом настоящий Шумилов, мелкий чиновник, подканцелярист четырнадцатого класса? Вероятно, то же, что и все: государь нездоров, не выходит во двор, не принимает докладов, но подробности неизвестны, и никто не говорит вслух того, о чём думают все.

— Слышал, — ответил он осторожно, подбирая слова, как сапёр подбирает шаги на минном поле. — В городе говорят разное. Кто говорит, что простуда. Кто говорит, что горячка. Кто говорит, что Бог испытывает.

— В городе всегда говорят разное, — отрезал Меншиков. — А я тебе скажу правду. Государь умирает. Лекари разводят руками. Дни его сочтены — может быть, недели, может быть, дни. И когда это случится

Он осёкся, словно спохватившись, что говорит лишнее, что произносит вслух то, что пока ещё не должно быть произнесено. Прошёлся до окна и обратно, глядя в пол, и лицо его было таким, что Виктору стало страшно — не за себя, а за него, за этого человека, который через несколько дней станет самым могущественным в России и который через два года умрёт в ссылке, всеми забытый.

— Впрочем, об этом после, — сказал Меншиков уже другим, более ровным голосом. — Сейчас другое важно. У меня есть сведения, что в Преображенском полку, в моём родном полку, зреет смута. Кто-то мутит воду, распускает слухи, склоняет офицеров на сторону великого князя Петра Алексеевича. Мне нужно знать: кто именно, насколько серьёзно и далеко ли зашло. Моих людей они знают в лицо — знают всех, кто хоть раз переступал порог моего дома. А ты — человек новый, незаметный, никто тебя не знает и не запомнит, если не приглядываться. Вот тебе первое дело. Первое испытание.

Меншиков взял со стола небольшой конверт — из плотной, дорогой бумаги, с сургучной печатью, — и протянул его Виктору.

— Здесь имена тех, кто уже известен. Их немного, но каждое имя — это человек, который может стоять мне головы или подарить её. Пойдёшь сегодня же в полковую слободу. Поговоришь с людьми. Послушаешь то, о чём говорят вполголоса. Запомнишь всё — и важное, и неважное. Завтра утром доложишься. Лично мне.

Виктор принял конверт. Рука чуть дрогнула — только чуть, только на мгновение, — но он справился с собой, заставил пальцы сжаться, заставил себя не выдать того, что творилось у него внутри. Он брал в руки тысячи исторических документов, но никогда ещё бумага не была такой тяжёлой.

— Будет исполнено, ваша светлость, — сказал он, и голос его не дрогнул.

— Не сомневаюсь, — ответил Меншиков и отвернулся к окну — спиной к Виктору, спиной к свечам, спиной ко всему этому кабинету, давая понять, что аудиенция окончена, что слов больше не будет и что оставаться дольше — значит испытывать терпение. — И вот ещё что. Если услышишь что-то важное — не жди утра. Приходи сразу. В любое время дня и ночи. Мои люди тебя пропустят. Я скажу, чтобы запомнили твоё лицо.

Виктор поклонился — ещё раз, низко, как требовал этикет, — и, не поднимая глаз, двинулся к выходу. И только когда дверь за ним закрылась, когда он снова оказался в коридоре, где пахло воском и деревом и где слуги сновали мимо, не глядя на него, — только тогда он позволил себе выдохнуть. Выдохнуть тот воздух, который, казалось, не вдыхал все эти минуты.

Он шёл к выходу, сжимая в руке конверт, и думал о том, что только что началась самая странная, самая опасная и самая важная работа в его жизни. Работа, к которой он готовился двадцать лет, сам того не зная. Работа, которая называлась — жить в истории. И менять её.

Глава 2. Чужое стадо

I

Выйдя от светлейшего князя, Виктор не сразу покинул особняк, как сделал бы всякий другой на его месте, спешащий поскорее исполнить полученное повеление. Напротив, он задержался в приёмной и, делая вид, что поправляет кружевной шейный платок, пожелтевший от долгой лёжки в монастырской келье, на самом деле давал себе время осмыслить произошедшее. Сердце его колотилось где-то у горла, и этот стук был таким сильным, что, казалось, его могли слышать слуги, сновавшие по коридорам, но мысли, к собственному удивлению Виктора, выстраивались в стиль, почти лабораторном порядке. Такое случалось с ним в архиве, когда он наткался на документ, переворачивавший прежнюю концепцию: сперва вспышка — почти испуг, почти восторг, — а потом спокойная, ледяная ясность, когда всё лишнее отпадало и оставалась только суть.

Он только что говорил с Александром Даниловичем Меншиковым. Светлейшим князем, герцогом Ижорским, генералиссимусом, кавалером ордена Святого Андрея Первозванного и ордена Слона, членом Лондонского Королевского общества — перечисление этих титулов занимало в голове Виктора отдельную, тщательно выверенную ячейку памяти, потому что в своей прошлой жизни он однажды потратил целый день в архиве, выписывая их из подлинных грамот, сверяя каждое слово, каждую запятую. Тогда это было академическим интересом, делом профессионального педантизма. Теперь — вопросом выживания.

Он получил первое задание. Задание опасное, нешуточное: влезть в Преображенскую слободу, туда, где живёт старейшая гвардия, послушать разговоры, которые ведутся вполголоса, и доложить. И сделал это — не выдав ни страха, ни растерянности, ни, самое главное, своей главной тайны, того, что он — не за кого себя выдаёт. Теперь оставалось только оправдать доверие — или провалиться с такими последствиями, о которых не хотелось даже думать. Меншиков не прощал ошибок. Виктор знал это из истории, из дел, которые изучал годами. Знал он и другое: светлейший ценил ум и исполнительность едва ли не выше родовитости. Сам выбился из низов — из торговцев пирогами, из «счастливого щенка» Петра, — и в других уважал способности, а не происхождение. Это давало шанс. Единственный шанс.

II

В приёмной снова появился Гурий Волков. Секретарь светлейшего держался всё с тем же непроницаемым выражением холёного лица, которое, казалось, не менялось ни при каких обстоятельствах, но взгляд его стал чуть более цепким, более пронзительным, чем прежде, — Виктор явно видел, как его оценивают, словно некий невидимый механизм внутри Волкова перебирал невидимые шестерёнки, калибруя степень полезности нового человека. Одет секретарь был в камзол из английского сукна, тёмно-вишнёвого цвета, с серебряными пуговицами, на которых был выгравирован орёл, — неброско, но дорого, так, как одеваются люди, которым не нужно доказывать своё положение, потому что оно и так написано у них на лицах.

— Его светлость распорядился выдать вам потребную сумму, — произнёс Волков, протягивая кожаный кошель, ощутимо тяжёлый, наполненный чем-то звенящим. — Шесть рублей серебром. Хватит и на извозчика, и на угощение нужным людям, и на то, чтобы в случае чего откупиться от лишних вопросов. Отчитаетесь опосля, когда дело сделают.

— Благодарю, — ответил Виктор, пряча кошель за пазуху, туда же, где уже лежали бумаги, и пальцы его отметили приятную тяжесть — ту самую тяжесть, которая в этом мире значила больше, чем любые слова. Шесть рублей по меркам 1725 года были суммой большой, почти неприличной для человека его положения. Рядовой солдат получал в год около десяти рублей, да и то не всегда сполна; мелкий подканцелярист вроде Шумилова — немногим

больше, если не считать нерегулярных подачек от начальства. Меншиков швырялся деньгами так же, как и людьми: широко, не считая, не жалея, но требуя результата немедленного и безусловного.

— Когда прикажете явиться с докладом?

— Завтра к вечеру. Но если что-то горячее, если услышите такое, что не терпит отлагательства, — немедля, как князь велел. — Волков помолчал, перебирая в пальцах массивную печатку на среднем пальце — движение машинальное, почти бессознательное, но Виктор успел отметить: секретарь носит перстень с гербом, стало быть, сам не из простых, из тех, кто вышел из низов, но давно уже забыл об этом. — Мой совет вам, господин Шумилов: не ходите в слободу в этом. — Он указал взглядом на зелёный камзол Виктора — добротный, с серебряным шитьём, хоть и поношенный, но всё ещё дворянский. — Там таких не носят. Одевайтесь проще. Я велю людям дать вам тулуп и шапку поплوشе, из тех, что носят мещане или мелкие приказные. Вам надобно выглядеть как человек из тех, кто не привлекает внимания, а не как дворянин, пришедший командовать. В слободе, знаете ли, к дворянам отношение... особенное. Гвардия своё достоинство блюдёт и чужаков не жалует.

Через четверть часа Виктор вышел из особняка Меншикова в нагольном тулупе — грубом, овчинном, пахнущем дымом и дегтем, — надетом поверх старого камзола, в надвинутой на брови овчинной шапке, из-под которой торчали только глаза да кончик носа, и в простых, разношенных сапогах, подбитых железными подковами. От прежнего облика, от того человека, который четверть часа назад стоял перед светлейшим в приличном платье, не осталось почти ничего, кроме рук — этих самых рук со старым шрамом и чернильной мозолью, выдававших в нём человека, привыкшего к перу и бумаге. Впрочем, в слободе могли встретиться и писари, и полковые канцеляристы — это не вызвало бы подозрений. Хуже было другое: в покрое тулупа, в отсутствии военной выправки, в манере держаться — во всём этом опытный глаз мог распознать чужака, человека не из этой среды, не из этой жизни. Виктор отдавал себе отчёт: его главное оружие сейчас — не деньги, не знание истории и не связь с Меншиковым. Главное сейчас — способность притворяться, входить в чужую шкуру так же легко, как он вошёл в это чужое тело. И он собирался использовать эту способность на полную, не жалея ни сил, ни воображения.

III

Морозный туман сгустился над городом. Февраль в Петербурге всегда был месяцем туманов: Нева ещё спала подо льдом, скованная до самого дна, но болота вокруг города, те болота, на которых Пётр велел строить новую столицу, уже начинали дышать сыростью, и эта сырость поднималась вверх, смешиваясь с дымом из печных труб, и окутывала улицы белесой, вязкой мглой, в которой фонари казались мутными, дрожащими звёздами. Виктор нанял сани у ближайшего извозчика — угрюмого мужика в рваном треухе, с лицом, обветренным до красноты, — и велел ехать в Преображенскую слободу, на левый берег Невы, за Литейный двор, туда, где жили те, кто составлял опору и гордость русской гвардии.

Пока сани скользили по укатанному снегу, взрезая полозьями ледяную корку и оставляя за собой две ровные, гладкие колеи, которые тут же заматало мелкой позёмкой, Виктор сидел, кутаясь в тулуп, и обдумывал задание. Преображенский полк — старейший гвардейский полк, основанный Петром ещё в «потешные» времена, в далёком 1683 году, в подмосковном селе Преображенском, когда будущий император был ещё мальчишкой, игравшим в войну с такими же мальчишками из конюхов и сокольничих. Из этого «потешного» войска выросли и офицерский корпус, и многие государственные деятели, и та новая, петровская Россия, которая теперь, через сорок лет, стояла на берегах Невы и пугала Европу своей мощью. Именно преображенцы вместе с семёновцами — второй гвардейский полк — решали судьбу престола, ибо кто владел гвардией, тот владел и Россией. В реальной истории, той истории, которую Виктор знал по книгам и документам, преображенцы поддержали Екатерину после смерти Петра, и

сделали это благодаря усилиям Меншикова и генерала Бутурлина, которые сумели перетянуть колеблющихся на свою сторону. Но здесь, судя по заданию, которое он получил, что-то шло не так. В полку явно зрела смута, и кто-то — Долгорукие, Голицыны, неизвестные пока враги — склонял гвардию на сторону Петра Алексеевича, десятилетнего внука императора, мальчика, за спиной которого стояла старая родовитая знать, мечтающая вернуть себе власть, отнятую Петром.

Виктор помнил имена, значившиеся в запечатанном конверте, который он прочёл в саях, разломив сургучную печать с осторожностью, какую мог бы проявить хирург, вскрывающий брюшную полость, и прикрывая бумаги полой тулупа от ветра, который так и норовил вырвать их из рук. Меншиков, как догадался Виктор, не боялся, что его гонец сунет нос в княжеские бумаги: светлейший, похоже, специально дал ему прочесть это донесение, проверяя, сделает ли новый человек правильные выводы и не попытается ли скрыть что-то лишнее. Среди подозреваемых значились трое: поручик Иван Козлов, сержант Фёдор Щепотьев и некий солдат по фамилии Дронов, о котором было сказано лаконично, почти презрительно: «Дерзок, говорлив, имеет дружбу с людьми Долгоруких». Ниже, другим почерком — более мелким, более торопливым, вероятно, самого Волкова, — шла приписка: «Дронова проверить в первую очередь. Ежели заговорит — доставить». И подпись: не привычное «светлейший», которым Меншиков обычно подписывал официальные бумаги, а короткое, энергичное, почти злое — «М.». С этого и следовало начать. Но соваться к Дронову сразу, в лоб, было бы глупо, даже опасно. Сначала — осмотреться, послушать, уловить расстановку сил, разобраться, кто кому друг, а кто только притворяется другом.

IV

Слобода встретила его запахами — теми запахами, которые, должно быть, запомнил каждый, кто когда-либо жил в солдатской слободе старого русского города. Запах дыма от печных труб, запах конского навоза, который смешивался с запахом мокрой шерсти и кислого солдатского сукна, запах квашеной капусты из открытых дверей кабаков и запах дёгтя, которым смазывали колёса и сапоги. Дома здесь были пониже, чем в центре, — в основном деревянные, рубленные из толстых брёвен, с высокими крыльцами и глухими заборами, за которыми изредка слышался собачий лай — злой, предупреждающий, такой, каким лают псы, привыкшие к чужакам. Вдоль главной улицы, которая вела к полковому плацу, тянулись коновязи — длинные деревянные жерди, к которым были привязаны лошади, и эти лошади, покрытые попонами, перебирали ногами и фыркали, выпуская клубы пара в морозный воздух. У полковых бань, из которых валил густой, сладковатый пар, смешанный с запахом берёзовых веников и горячей воды, толпились солдаты — кто с вениками, кто с деревянными шайками, — хохотали, хлопали друг друга по спинам, переговаривались тем особенным, гортанным говором, который бывает у людей, проживших вместе много лет. Где-то в стороне бил барабан — размеренно, однообразно, с той железной, неумолимой чёткостью, которая вдалбливалась в солдатские головы на учениях, отбивая шаг учебной роты. Виктор прислушался к этому ритму, и ритм показался ему знакомым: чёткий, прусский, с характерной оттяжкой на четвёртую долю, — который ввёл Пётр, перенимая европейские военные порядки. Орднунг. Порядок, который держался на муштре и палке.

Он отпустил возницу у кабака с грубо намалёванной вывеской, которая, должно быть, была предметом насмешек всей слободы: кривой двуглавый орёл, нарисованный столь неумело, что его можно было принять за утку с двумя головами, держал в лапах штоф и глиняную кружку. Под вывеской, углём, явно не самой твёрдой и не самой трезвой рукой, было нацарапано: «Государство угощает». И ниже, мелкими буквами, словно после долгих споров: «В долг не даём». Заведение, как сообразил Виктор, было из тех, что посещаются нижними чинами — солдатами, сержантами, может быть, унтер-офицерами, — но не офицерами: те

пили в другом месте, более приличном, более дорогом, подальше от простых солдатских разговоров.

Он вошёл.

Внутри сильно накурено и слишком шумно — шумом той особенной, солдатской гулянки, когда каждый говорит громче другого, чтобы его услышали, и никто никого не слушает. Сизый табачный дым плавал слоями, подсвеченный масляными лампами, которые горели неровно, чадили и бросали на стены длинные, зыбкие тени. Длинные дубовые столы, залитые пивом и квасом, лавки, глиняные кружки с отбитыми краями, оловянные тарелки с квашеной капустой и крупно нарезанной солониной — той солониной, которую солдаты прозвали «торпедой» за её твёрдость и способность сохраняться месяцами. За стойкой стоял целовальник — красномордый, с руками-лопатами, в засаленной рубашке, — и разливал из штофа что-то мутное, пахнущее хлебом и хмелем, в подставленные кружки. Посетителей было много: солдаты в расстёгнутых мундирах, у некоторых на груди виднелись нашивки за ранения — нашивки, которые были дороже любых орденов, потому что каждая из них стоила крови; у одного не хватало уха — отрублено ли в бою, отрезано ли за побег, не разобрать. Несколько сержантов с тросточками — знаком отличия, которым они имели право наказывать нерадивых нижних чинов. Ещё пара писарей с чернильными пятнами на пальцах и угрюмый купец в углу, который явно не рассчитывал оказаться в такой компании и теперь, сидя в самом тёмном углу, боялся поднять глаза от тарелки.

Виктор, войдя, на мгновение замер у порога, давая глазам привыкнуть к полумраку, и быстрым, цепким взглядом, который он выработал за годы работы в архивах — когда нужно было мгновенно оценить обстановку и найти нужную полку, — оглядел помещение. За дальним столом, в том углу, где было меньше всего света, сидели четверо гвардейцев и о чём-то негромко, но горячо спорили, склонив головы друг к другу. Справа, у заиндеветшего окна, — одинокий сержант с кружкой пива и кислым выражением лица, которое, казалось, было вырезано на его физиономии раз и навсегда. Лицо его пересекал старый шрам — от левого виска до самого угла рта, белый, застарелый, такой, что при разговоре край рта чуть поднимался, придавая ему выражение вечной, невольной усмешки. Именно таким, по описанию, Виктор представлял себе Щепотьева — сержанта, значившегося в списке. Отдельно от всех, в стороне, расположился человек в штатском платье, по виду — купец или подрядчик, который нервно крошил хлеб на столе, не поднимая глаз.

Виктор взял у целовальника кружку кваса — пить хмельное пока не стоило: голова должна была оставаться ясной, а язык — осторожным, — сел на свободную лавку так, чтобы слышать дальний стол, и принялся неспешно, с видом человека, который никуда не спешит, цедить напиток. Квас оказался крепким, хлебным, с приятной кислинкой и лёгким дымным привкусом — явно домашнего приготовления, а не той разбавленной бочковой бурды, которой потчевали в дешёвых кабаках.

V

До него долетали обрывки разговора — те обрывки, ради которых он сюда и пришёл. Солдаты спорили, не понижая голосов, потому что в шуме кабака трудно было сохранить тайну, да и не считали они свои речи тайными — просто говорили о том, что волновало всех.

— ...говорят, государь-то уж не встанёт, — сказал один, молодой, с нашивками капрала, и голос его был таким, каким говорят о неизбежном и страшном. — Лекаря руками разводят. Ничего не могут.

— Враки! — перебил другой, постарше, с сединой в усах. — Государь — он крепкий. Сколь раз болел, а? И помирали уже, и подымался! Помнишь, как в двадцать втором? Все уж хоронить собрались, а он через седмицу — на ногах, и давай бумаги подписывать, указы писать, корабли смотреть.

— То в двадцать втором, — упрямо сказал первый. — А нынче, сказывают, почки отказали. А с почками, брат, не шутят. У меня дядька от того же помер — сначала мочился кровью, потом почернел весь, иссох, как щепка. Не дай бог.

— Типун тебе на язык! — рявкнул седуусый. — Государь нашему брату — отец. Без него что? Свара начнётся. Кому власть? Кому казну? Гвардию кто поведёт? Так нельзя. Нельзя без царя.

— А коли не подымется? Тогда что?

— Тогда — Пётр Алексеевич, кому ж ещё? — сказал третий, молодой, безусый, с горящими глазами. — Внук природный. Кровь царская. По праву, стало быть.

— Скажешь тоже — природный, — усмехнулся первый, и в усмешке его было что-то недоброе. — Царевич Алексей от престола отречён был, да и помер в застенке, царство ему небесное. И сын его, значит... как бы сказать... не прямой уж наследник.

— Тиш-ше ты, дурень! — зашипел седуусый, оглядываясь по сторонам. — Про такое — молчок. За такие слова, знаешь, куда отправляют? В Преображенский приказ, вот куда. Там быстро научат, как про царевича Алексея рассуждать.

Наступила напряжённая пауза, такая глубокая, что слышно было, как потрескивают поленья в печи и как за окном, на улице, перекликаются часовые. Виктор сделал вид, что целиком поглощён квасом, но внутренне весь обратился в слух, каждым нервом, каждой жилкой, ибо от этих слов, от этих полусшепотом зависело сейчас больше, чем от любого документа. Разговор возобновился тише, почти шёпотом, так что приходилось напрягать слух до звона в ушах:

— У Долгоруких, слышал, уж всё готово, — сказал кто-то из темноты. — Как только государя не станет — они полки подымут. У них люди везде свои, и в гвардии, и в армии.

— А светлейший? — спросил молодой, и в голосе его послышалось что-то похожее на надежду. — Меншиков-то что же?

— А что светлейший? — усмехнулся тот же голос. — У него гвардия, да только солдат — он за тем пойдёт, кто хлеб даст. А хлеб нынче у кого?

— У Долгоруких, выходит?

— У Долгоруких казна своя, это верно. Они не скупятся. Давеча в третьей роте солдатам по рублю на брата раздали. Просто так. Без вычетов, без записей. Пришёл человек, вынул кошель, и каждому — рубль серебром. Солдат это любит. Солдат это помнит.

— И много они так раздали?

— Говорят, сотен пять, а то и больше. Деньги немалые, не каждому князю такие по карману. И посулили ещё: как Пётр Алексеевич на престол сядет — всем гвардейским жалованье удвоят, а особо отличившимся — земли в новгородских вотчинах, где леса, где пушнина, где мужики. Хорошее обещание.

— Удвоят? — переспросил седуусый, и в голосе его послышалось сомнение. — Это хорошо, если сбудется. Да только двойное-то жалованье не везде двойную службу стоит. У светлейшего, слышал, тоже закрома не пустые. Он тоже не из бедных.

— У светлейшего закрома полные, да только он их для себя держит, — сказал безымянный голос из темноты, и в этом заявлении была та простота, которая делает любую ложь похожей на правду. — А Долгорукие — они для всех. Понимаешь разницу? Они — родовитые, им нечего терять, они за царя, за истинного. А Меншиков — он сам за себя. Он бы и рад, да не могут его Долгорукие к престолу подпустить. Потому что он... ну, сами знаете, откуда он. Из пирожников.

Виктор мысленно отметил эту аргументацию — хлебную, понятную, рассчитанную на самый простой и самый сильный инстинкт, на жадность и на страх. Долгорукие действовали грамотно, умело, подкупали гвардейцев не обещаниями политических свобод, которые солдату были безразличны, а простым и понятным рублём, который греет карман и ласкает глаз. В реальной истории, той истории, которую Виктор знал, это было слабым местом Меншикова:

при несметных богатствах, при дворцах и вотчинах, он был скуповат, когда дело касалось чужих карманов, и предпочитал копить, а не тратить. Солдаты это чувствовали, и это чувство — обида на скупого барина — было лучшим союзником Долгоруких.

Он отхлебнул ещё кваса, сделал вид, что закусывает хлебом, и продолжил слушать.

VI

— А что Козлов говорит? — спросил один из солдат — этот молодой, безусый, с нашивками капрала, — и в этом вопросе было то особенное, почтительное внимание, с каким говорят о начальнике, которому верят. — Поручик-то наш, Козлов, что думает? Он человек умный, не чета другим.

— Козлов своё говорит: порядок, мол, нужен, — ответил седоусый, понижая голос ещё больше, так что его едва было слышно за общим шумом. — Порядок — это закон. А закон — это Пётр Алексеевич. Потому что он по крови, а не по случаю на престол сел. Так он говорит.

— Эко он ловко повернул, — усмехнулся первый солдат. — По крови... Хотя, оно, конечно, верно. Не по случаю, а по закону. Только при государе Петре Алексеевиче кто править-то будет? Мальчишка же совсем, десять лет. Ему бы в куклы играть, а не государством управлять.

— А регент будет. Регента назначат, — сказал безымянный голос. — Таков порядок в Европе: при малолетнем государе правит регент, пока не вырастет. И всё чинно, всё благородно.

— Кого? Меншикова?

— Вот уж нет, — усмехнулся голос. — Меншикова Долгорукие на пушечный выстрел к престолу не подпустят. Сами знаете, не любят они его, да и он их не любит. Сказывают, регентом будет Алексей Григорьевич Долгорукий. Или князь Дмитрий Голицын. А светлейшего — в отставку, а то и подальше. Подальше — это куда? В Берёзов, говорят. Или ещё подальше.

— Хоть в Берёзов, а хоть и далее, — хохотнул кто-то из темноты. — Лишь бы подальше. А нам что? Нам бы жалованье платили да не обижали.

Виктора пронзил внутренний озноб — не имевший ничего общего с февральским морозом, который постепенно просачивался сквозь стены кабака. Берёзов. Именно туда, в этот забытый богом и людьми сибирский городок, и сошлют Меншикова в реальной истории, через два с лишним года после смерти Петра, когда юный Пётр II взойдёт на престол и Долгорукие возьмут своё. Но здесь, в этих разговорах, которые велись вполголоса в солдатском кабаке, ссылка обсуждалась уже сейчас, ещё до кончины императора, как дело почти решённое. Значит, Долгорукие готовят почву. И готовят основательно, не жалея ни сил, ни денег, ни человеческих жизней.

Он допил квас и поставил кружку на стол, понимая, что дальше сидеть и слушать бессмысленно — он уже услышал главное. Нужно было решать, как подступиться к нужным людям, как заговорить с теми, кто мог дать больше, чем случайные обрывки разговора.

VII

И в этот момент одинокий сержант у окна — этот, со шрамом, в котором Виктор почти не сомневался, что угадал Щепотьева, — вдруг поднял голову и глянул прямо на него. Взгляд был тяжёлым, изучающим, без тени приветливости, таким взглядом смотрят на человека, которого хотят запомнить, чтобы потом, когда придёт время, найти и спросить по всей строгости. Виктор успел отвести глаза, сделать вид, что разглядывает грязный ноготь на пальце, но внутренним чутьём осознал — поздно. Его заметили. И не просто заметили — узнали.

Сержант поднялся из-за стола — коренастый, широкоплечий, с могучей шеей, на которой бугрились жилы, напрягшиеся, как канаты, — и неторопливо, вразвалочку, той особенной походкой, которая бывает у людей, привыкших к долгим переходам и рукопашным схваткам, подошёл к Виктору. Двигался он, несмотря на свою грузность, с мягкой, пружинящей грацией,

которая выдавала в нём человека, прошедшего не одну военную кампанию и знающего, что такое настоящий бой — не парадный, а тот, где свистят пули и льётся кровь.

У стола он остановился, нависая над Виктором, как скала нависает над путником, и стало вдруг темно и тесно.

— Не признал тебя, — произнёс он хрипловато, явно простуженным голосом, и в этой хриплоте было что-то угрожающее, хотя слова сами по себе были невинны. — Ты чей будешь? Из писцов, что ль? Больно много вас тут шастает в последнее время. Из канцелярий, из приказов... все чего-то вынюхивают, все чего-то высматривают.

Виктор отставил кружку. Спокойно. Без резких движений. Руки держал на виду, на столе, чтобы сержант видел, что он не прячет ничего за спиной. Сердце колотилось где-то в горле, но он заставил себя дышать ровно, ибо знал: в таких ситуациях страх читается по дыханию быстрее, чем по глазам.

— Из писцов, — подтвердил он, и голос его прозвучал ровно, почти скучно, как и положено человеку, который занимается бумажной работой и которому надоели эти вечные подозрения. — Из городской канцелярии. Прислали описи проверять по полковому имуществу. У вас, рассказывают, недостача по амуниционным деньгам за прошлый год. Вот и хожу, сверяю, считаю. Скучная работа, сами понимаете.

Он бил наугад, но попал, судя по реакции. Сержант нахмурился, оглянулся через плечо — не подслушивает ли кто? — и, наклонившись к самому уху Виктора, понизил голос до шёпота:

— Недостача... Ты, писец, потише бы про такие дела. Не всякая недостача от солдатской нерадивости. Бывает, и начальство... — Он не договорил, но и так было ясно. — Про описи — это к каптенармусу, не ко мне. Я такими делами не ведаю. Моё дело — солдаты, а не бумаги.

— А ты кто таков? — спросил Виктор, стараясь, чтобы голос звучал ровно, с лёгким, едва уловимым нахальством, какое положено мелкому приказному, который разговаривает с военным как равный с равным, потому что служит государю, а не ему лично. Опыт общения с чиновниками в своё время — с их интригами, с их подсиживаниями, с их вечной грызнёй за место у кормушки — подсказывал ему: слишком почтительный писец вызывает подозрение, слишком наглый — раздражение. Истина, как всегда, была где-то посередине.

— Сержант Щепотьев, первой роты, — ответил тот и скрестил руки на груди, отчего стал казаться ещё шире и ещё внушительнее. — А ты, выходит, Шумилов? Иван Григорьев сын?

Виктор внутренне сжался, и этот спазм был таким сильным, что, казалось, всё его новое тело скрутило в комок. Один из тех, кто значился в списке Меншикова. Один из подозреваемых. И он уже знает его имя. Плохо. Очень плохо.

— Про тебя спрашивали, — продолжал Щепотьев всё тем же глуховатым, простуженным тоном, и в этом тоне не было ни угрозы, ни дружелюбия — только факт. — В полку про тебя спрашивали. И не раз.

— Кто спрашивал? — спросил Виктор, и вопрос этот прозвучал резче, чем ему хотелось бы.

Щепотьев усмехнулся, и усмешка эта была недоброй — такой усмешкой усмеваются люди, которые знают больше, чем говорят, и не собираются делиться этим знанием с первым встречным. Шрам на его щеке при этом побелел, натянулся — Виктор знал из медицинских книг, что такое случается с застарелыми рубцами, когда человек напрягает лицевые мышцы. И этот маленький, почти незаметный признак сказал ему больше, чем любые слова: Щепотьев был не спокоен. Он был напряжён, как зверь перед прыжком.

— А вот пойдём-ка со мной, там всё и узнаешь, — сказал сержант, и рука его — тяжёлая, широкая, с пальцами, похожими на сардельки, — легла на плечо Виктора, сжала его, как тиски, привычные к тяжести фузейного ствола и к сопротивлению пойманного человека. — Не бойсь, далеко не поведём. Только поговорить надо. По-хорошему.

И он потянул Виктора к выходу, не спрашивая согласия, не обращая внимания на то, что другие посетители кабака провожали их взглядами — кто с любопытством, кто с равнодушием, кто со страхом.

VIII

Виктор явно ощутил, какая сила скрыта в этом невысоком, кряжистом человеке: пальцы впивались в плечо с такой мощностью, что, казалось, могли раздавить кость. Сопротивляться было бессмысленно — любое движение, любой рывок только усилил бы хватку и вызвал подозрения. Кричать — тем более: в этом месте, в этой слободе крики о помощи были привычным делом, и никто не бросился бы спасать подозрительного писца, которого тащит сержант. Виктор бросил быстрый взгляд на целовальника — тот стоял за своей стойкой и делал вид, что вытирает кружку, но глаза его скользнули по Виктору и тут же отвернулись. Здесь привыкли не вмешиваться в чужие дела. Здесь каждый знал: вмешательство может стоить жизни.

На улице уже стемнело — стемнело той особенной, февральской темнотой, которая опускается на Петербург быстро, как театральный занавес: только что было сумеречно, серо, неуютно — и вот уже тьма, густая, почти осязаемая, разбавленная лишь тусклыми масляными фонарями у полковых караулов, которые горели неровно, чадили и отбрасывали на снег длинные, зыбкие тени. Мороз усилился, и этот мороз забирался за ворот тулупа, заставлял ёжиться, дышать прерывисто, и каждый выдох превращался в облачко пара, которое тут же рассеивалось в темноте. Щепотьев, не отпуская плеча Виктора, не ослабляя хватки, повёл его вдоль по улице, мимо шлагбаума, мимо полосатых будок часовых, которые провожали их равнодушными, ничего не выражающими взглядами, — к приземистому каменному зданию в глубине слободы, которое угадывалось скорее по звуку, чем по виду: оттуда доносился запах сырости и плесени, и где-то в темноте звякнула цепь. Полковая гауптвахта. Место, откуда не всякий возвращался.

— Я ничего дурного не сделал, — заметил Виктор как можно миролюбивее, почти добродушно, стараясь, чтобы голос его звучал спокойно, даже весело, как у человека, которого ведут на гауптвахту по ошибке и который уверен, что скоро всё разъяснится. — Служба у меня такая: ходить, описи сверять, бумаги составлять. Скучная служба, честно сказать. Сам бы рад от неё отказаться, да куда денешься? Начальство приказало — значит, надо.

— Знаю я ваши описи, — хмыкнул Щепотьев, не оборачиваясь, и в этом хмыканье было столько презрения, что Виктору стало ясно: сержант не верит ни одному его слову. — Ты ещё до Рождества в слободе крутился. Я тебя помню. И после Нового года тебя видали у дома Ивана Долгорукова, что на Адмиралтейской стороне. А как государь слёг — ты пропал. Три недели о тебе ни слуху ни духу. И вот, на тебе, объявился. Совпадение, скажешь? Простое совпадение?

Виктора бросило в дрожь. Это было хуже, чем он предполагал. Настоящий Шумилов, выходит, и до своей болезни успел наследить — и в слободе крутился, и возле Долгоруких. Его исчезновение, столь своевременное, столь совпавшее с болезнью государя, теперь связали с этим событием и считали подозрительным вдвойне: и активность до болезни, и внезапное исчезновение, и столь же внезапное возвращение. Он шёл по тонкому льду, и лёд этот трещал под ногами.

— Я после Рождества в горячке лежал, — ответил он, уже не скрывая, но и не выкладывая всего, ибо слишком много правды было так же опасно, как и слишком много лжи. — Три недели без памяти, в монастыре, в Александро-Невской обители. Что было до того — почти не помню. Сами знаете: мозговая горячка память отшибает напрочь, как метлой выметает. Монахи подтвердят, если спросите. Келарь отец Никодим, лекарь, что меня пользовал.

— Монахи-то подтвердят, — пробормотал Щепотьев, и в этом бормотании было что-то задумчивое, почти сомневающееся. — Да только не все монахам верят. И не всем монахам можно верить. Бывает, и монахи за деньги правду продают, а ложь покупают.

Он толкнул тяжёлую, обитую войлоком дверь, которая отворилась с глухим, утробным стоном, и впихнул Виктора внутрь — не грубо, не жестоко, а с той спокойной, профессиональной силой, с какой пастух загоняет овцу в загон.

IX

В караулке горела одна-единственная масляная лампа, водружённая на дубовый стол, и свет её был таким скудным, что углы комнаты тонули в непроглядной тьме. Комната была казённой до мозга костей, до каждой половицы, до каждого гвоздя: голые каменные стены, выбеленные извёсткой, которая кое-где облупилась, открывая тёмный, шершавый камень; деревянный помост для сна, на котором кто-то недавно лежал — солома ещё не остыла; пара табуретов, сколоченных наспех, кривоногих; на стене — регламент караульной службы в деревянной рамке, пожелтевший от времени и копоти. Пахло здесь сыростью, кислым солдатским сукном, потом и ещё чем-то кислым, сладковатым — тем запахом, который бывает в помещениях, где собирается много людей и где редко проветривают.

За столом сидели двое. Первый — молодой офицер, лет двадцати пяти, с тонкими, щёгольски закрученными усиками, которые, должно быть, были предметом его гордости, и с бесцветными серыми глазами, какие бывают у людей, рано привыкших командовать и рано уставших от этой привычки. Камзол обер-офицерского сукна с зелёными обшлагами — цвета Преображенского полка — сидел на нём ладно, без единой складки, без единой морщинки, что выдавало хорошего портного и ещё более хорошего заказчика, который не жалеет денег на то, чтобы выглядеть безупречно. Поручик Козлов, подсказала память Виктора: имя из списка Меншикова, один из подозреваемых в связях с Долгорукими. Судя по лицу — умён, спокоен и опасен. Очень опасен.

Второй — человек в чёрном плаще, с лицом, скрытым в тени глубокого капюшона, надвинутого почти до подбородка. Он сидел неподвижно, как изваяние, как статуя, высеченная из тёмного камня, и при появлении Виктора не шелохнулся, не повернул головы, не подал никакого знака, что заметил вошедшего. Но в этой неподвижности было что-то гнетущее, почти гипнотическое. От него веяло не угрозой — веяло властью. Не той властью, что даётся чином или богатством, а той, что проистекает из знания, из того особенного, сокровенного знания, которое делает человека неуязвимым.

— Вот, — доложил Щепотьев, подтолкнув Виктора к столу так, что тот чуть не споткнулся о табурет, — тот самый. Шумилов. Из городской канцелярии, говорит. А сам, мы знаем, у Долгоруких трётся. Или, по крайней мере, тёрся до того, как пропасть. Теперь вернулся, как ни в чём не бывало. И в кабаке у солдат крутится, вынюхивает, выпрашивает.

Поручик Козлов поднял голову от бумаг, которые рассматривал — каких-то листов, исписанных мелким, каллиграфическим почерком, — и оглядел Виктора без видимой враждебности, но и без малейшего тепла. Так смотрят на уравнение, которое нужно решить, или на арифметическую задачу, у которой есть только один правильный ответ.

— Господин Шумилов, — произнёс он тихо, но отчётливо, как человек, привыкший отдавать приказы вполголоса и привыкший к тому, что эти приказы исполняются беспрекословно, — мы люди военные, сутяжничать не любим и лишних слов не тратим. Объясните нам без увёрток и без обмана: зачем вы посещали дом Ивана Долгорукова в начале января и с кем там говорили? А потом объясните, почему сразу после этого вы исчезли на три недели и где пропадали, если, конечно, пропадали, а не скрывались умышленно. И помните: ложь мы отличаем от правды. У нас есть свидетели.

Виктор стоял перед столом, чувствуя, как на спине, под грубой тканью тулупа, выступает липкая испарина, и думал. Если сейчас солгать — ложь вскрыется немедленно. У них есть свидетель — скорее всего, привратник или слуга, — который видел Шумилова у дома Долгоруких. Возможно, есть и другие глаза, другие уши. Выходило, что настоящий Шумилов действительно был у Долгоруких до своей болезни, до того, как слёг в горячку, — и это мно-

гое объясняло. Объясняло и интерес Меншикова к скромному подканцеляристу, и то, почему светлейший держал его на особом счету, и то, почему о нём справлялись в монастыре. Шумилов, выходит, уже до болезни работал по Долгоруким. Вопрос был только в том — на кого? На Меншикова? Или на самих Долгоруких? Или — страшно подумать — на кого-то третьего, кто использовал его в своей игре?

Оставалось играть правдой. Но правдой дозированной, осторожной, такой, чтобы не сказать лишнего, но и не вызвать подозрений своей уклончивостью.

Х

— Господин поручик, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал ровно, спокойно, даже с ноткой оскорблённого достоинства, какую может позволить себе человек, которого незаслуженно подозревают, — я действительно был в доме Долгоруких в начале января. И не скрываю этого, ибо скрывать мне нечего. Я был там по поручению Канцелярии городских дел, по прямому приказу моего начальства. Речь шла об описи конфискованных имений по новгородскому делу — тому самому, где фигурировали вотчины, отошедшие в казну после дела царевича Алексея. У Долгоруких имеются бумаги, касающиеся тех вотчин, и мне велели сверить реестры, дабы не было никаких неясностей. Я выполнил поручение, составил опись, засвидетельствовал у хозяина дома и удалился. С кем именно говорил — того не помню, потому что вскоре после того, как вернулся в канцелярию, слёг в горячке. Три недели лежал без памяти в Александро-Невской обители. Келарь отец Никодим, лекарь, меня пользовавший, — могут подтвердить. Горячка была мозговая, тяжёлая. Мог и вовсе рассудка лишиться, но Бог помиловал. Память мне отшибло напрочь — что было в те дни и с кем я там виделся, хоть убейте, не вспомню!

Он замолчал, и в тишине, повисшей в караулке, слышно было, как потрескивает фитиль лампы и как за стеной кто-то тяжело, надрывно кашляет — должно быть, арестант.

Козлов обменялся быстрым, почти незаметным взглядом с человеком в капюшоне. Тот едва заметно покачал головой — не то отрицая сказанное, не то давая знак продолжать, не то просто показывая, что он всё слышит и всё учитывает.

— А сегодня вы зачем здесь? — продолжал Козлов, снова поворачиваясь к Виктору и сверля его глазами. — В слободе, в солдатском кабаке, среди нижних чинов? Что вы там забыли, господин Шумилов? Почём нам знать, что вы не лазутчик, не шпион, подосланный с каким-нибудь злым умыслом? Время сейчас смутное, сами понимаете. Каждый может оказаться врагом.

— Проверяю амуничные списки, — стоял на своём Виктор с тем упрямством, какое мог позволить себе только мелкий чиновник, привыкший к бумажной волоките и к тому, что его вечно подозревают в том, чего он не делал. — Прислан из канцелярии по приказу начальства. Могу предъявить бумаги. Вот они.

Он вынул из-за пазухи сложенный вчетверо лист — чистый бланк с печатью городской канцелярии, который на всякий случай прихватил из кельи, когда разбирал вещи настоящего Шумилова. Бланк был подлинным, с водяными знаками — теми самыми знаками, которые ставили на официальных бумагах, чтобы их нельзя было подделать, — с печатью, оттиснутой на сургуче: двуглавый орёл и надпись по кругу — «Канцелярия городских дел Санкт-Петербург». Виктор мысленно поблагодарил прежнего хозяина тела за его аккуратность и педантичность: Шумилов держал бумаги в идеальном порядке, и каждый документ имел свою папку, свою опись, свою судьбу.

Козлов взял документ, поднёс к лампе, долго, придирчиво изучал печать и водяной знак, поворачивал лист так и этак, даже понюхал — не пахнет ли подделкой, не свежая ли печать. Видно было, что человек этот привык иметь дело с документами и умеет отличать подделку от подлинника, как опытный следопыт отличает волчий след от собачьего. Потом он вернул лист

владельцу, и на его тонких, бескровных губах мелькнуло что-то вроде усмешки — усмешки человека, который нашёл то, что искал, но не хочет показывать своего торжества.

— Допустим, — произнёс он, и в этом «допустим» было столько снисходительности, что Виктору захотелось возразить, но он сдержался. — Бумага подлинная. Но вы, господин Шумилов, должны понимать: время сейчас такое, что человек, который объявляется у Долгоруких, потом исчезает на три недели, как сквозь землю проваливается, а потом вдруг всплывает в Преображенской слободе, — такой человек вызывает вопросы. И на эти вопросы приходится отвечать. Иногда — на неприятные вопросы.

— Я понимаю, — ответил Виктор, глядя прямо в бесцветные, ничего не выражающие серые глаза поручика, и в его голосе не было ни страха, ни вызова, а только спокойная готовность отвечать за свои слова. — И именно поэтому я хотел бы знать: кто обо мне расспрашивал в полку? Кого так заинтересовал скромный подканцелярист, что о нём спрашивают на гауптвахте? Если это люди, желающие зла государю и государству, — я обязан сообщить о них по начальству. Таков мой долг. Таков порядок.

Козлов слегка приподнял бровь — не то оценил дерзость этого маленького писца, который осмеливается задавать вопросы поручику гвардии, не то просто удивился его наивности. Потом откинулся на спинку стула и принялся медленно, ритмично постукивать пальцами по столу — и этот стук, размеренный, неумолимый, напоминал звук метронома, отмеряющего время до казни.

— По начальству? — переспросил он, усмехаясь одними глазами. — А кто, по-вашему, ваше начальство, господин Шумилов? Князь Меншиков?

— Моё начальство — Канцелярия городских дел, — сказал Виктор с той особенной, заученной интонацией, с какой говорят служебную формулу, не вкладывая в неё ни капли чувства. — Я служу не лицам, а государству. Так присягал. И присягу свою помню, даже если память мне отшибло.

Это был рискованный ход. Очень рискованный. В этих словах — о государстве, о присяге, о безличном служении — было то, что могло понравиться гвардейцам, которые присягали Петру, считали себя не чьими-то наёмниками, а опорой державы, и ненавидели тех, кто пытался превратить их в орудие придворных интриг. Виктор бил в эту точку сознательно. Он помнил из документов, из тех самых дел, которые изучал годами: преображенцы и семёновцы, особенно старые служаки, прошедшие Северную войну и персидский поход, болезненно реагировали на любые попытки сделать из них пешки в чужой игре. Они хотели служить престолу, а не лицам. Им нужен был царь, а не временщик.

Человек в капюшоне вдруг шевельнулся. Движение было медленным, почти ленивым, но Виктор успел уловить его краем глаза: длинные, тонкие, почти женские пальцы — пальцы человека, привыкшего к перу и бумаге, а не к шпаге и пистолету, — легли на стол, и на одном из пальцев блеснул перстень, которого Виктор не разглядел.

— Красиво говорит, — произнёс человек в капюшоне, и голос у него оказался глухим, но неожиданно чётким, чеканным, словно каждое слово он предварительно взвешивал на аптекарских весах, отделяя нужное от ненужного. — А ты, Шумилов, вот что скажи. Помнишь ли, как в Новгороде описи вёл? Про четыре вотчины, что на имя Шереметевых записаны были, а потом отошли в казну? Помнишь, кто подписывал приёмные листы? Чья подпись там стояла?

XI

Это была проверка. Не просто вопрос — ловушка, капкан, поставленный на самом видном месте. Человек в капюшоне проверял, действительно ли перед ним тот самый Шумилов, или же самозванец, занявший его место, подосланный врагами. Виктор не знал ответа. Архивные материалы по новгородским конфискациям он изучал, это было частью его диссертации, но фамилию конкретного писца, подписывавшего приёмные листы в 1723 или 1724 году, он не помнил. Да и не мог помнить: в исследовании он фокусировался на финансовых потоках,

на движении денег, на системе подушных сборов, а не на делопроизводственной рутине, не на том, кто именно поставил закорючку под актом приёма-передачи.

Поэтому он пошёл ва-банк — с единственным оружием, которое у него было. С правдой.

— Не помню, — признался он, и это «не помню» прозвучало почти вызывающе, почти дерзко, как вызов, брошенный в лицо тем, кто пытается его поймать. — Три недели в горячке лежал, мозговой. Память мне отшибло напрочь — что было, кого видел, какие бумаги подписывал, всё как в тумане, как сквозь воду. Имена, даты, подписи — всё вымело. Монахи уж соборовать хотели, отходную читали, еле выкарабкался. Если знаете — напомните! Я буду благодарен, ибо самому мне не восстановить.

Повисла пауза. Такая глубокая, такая полная, что слышно было, как потрескивает фитиль масляной лампы, потрескивают дрова в печи и где-то на улице, в темноте, перекликаются часовые — далеко, глухо, как во сне. Виктор стоял, чувствуя, как на спине, под грубой тканью тулупа, выступает липкая испарина, и как морозный сквозняк из-под двери тут же её остужает, вызывая мурашки.

Потом человек в капюшоне коротко, сухо рассмеялся — тем сухим, каркающим смехом, которым смеются люди, увидевшие то, что ожидали увидеть, и убедившиеся в своей правоте.

— Правду говорит, — сказал он, обращаясь к Козлову, и в этом «правду говорит» было нечто большее, чем просто констатация факта. — Я справлялся вчера через своих людей: Шумилов и правда лежал в Александро-Невской обители без памяти. Три недели. Келарь отец Никодим подтвердил. Лекарь, что его пользовал — немец, из выписанных, — сказывал: горячка мозговая, мог и вовсе рассудка лишиться, всё забыть, даже имя своё. Так что память ему действительно отшибло. Это не подстава, Козлов. Не ловушка. Отпусти.

Козлов помедлил, словно взвешивая услышанное, словно прикидывая, не рискует ли он, отпуская этого странного писца, который слишком много знает и слишком мало помнит. Потом коротко, нехотя кивнул Щепотьеву:

— Проводи господина Шумилова до извозчика. И проследи, чтобы без приключений. Не ровён час, наскочат на него в темноте лихие люди — потом отвечай. И запомни его лицо. Может, ещё увидимся.

Щепотьев молча отступил на шаг, освобождая проход, и в этом молчании было что-то похожее на облегчение.

ХII

Виктор поклонился — ровно настолько, насколько кланялся бы подканцелярист поручику гвардии: с почтением, но без подобострастия, с соблюдением субординации, но без унижения, — и вышел из караулки в темноту, которая ударила в лицо морозом и ветром.

Уже на улице, когда они отошли от гауптвахты на безопасное расстояние, когда за спиной стихли шаги часового и только снег скрипел под ногами, Щепотьев вдруг остановился и придержал Виктора за рукав — не грубо, не сильно, а так, как останавливают человека, чтобы сказать что-то важное, что не терпит отлагательства. Ночь вокруг стояла глухая, беззвёздная, и только снег скупно отсвечивал в свете дальних, тусклых фонарей, да где-то за казармами, в темноте, лаяла собака — монотонно, тоскливо, как будто жаловалась на свою судьбу.

— Ты, Шумилов, вот что, — начал Щепотьев и осёкся, словно подбирая слова, неприличные для служивого, для человека, который привык изъясняться короткими командами, а не длинными рассуждениями. — Я не знаю, чей ты человек на самом деле. И знать не хочу, ибо знание — это ответственность, а мне лишней ответственности не надо. Но если ты от светлейшего — передай ему кое-что. Передай дословно, как я скажу. Не прибавляя и не убавляя.

Виктор промолчал, ожидая продолжения. В темноте лицо сержанта казалось вырезанным из серого, шершавого камня — неподвижное, с глубокими, чёрными тенями в глазницах, и только шрам белел, выделяясь на этом суровом лице, как метка, как знак.

— Не все в полку против него, — произнёс Щепотьев негромко, почти шёпотом, но так, что каждое слово падало отдельно и веско, как камень, брошенный в воду. — Есть и такие, кто за порядок. За настоящий порядок, а не за тот, который нам обещают Долгорукие. Только порядок нынче дорог. Очень дорог. И не все могут заплатить его цену. А кто может — те выбирают, на чьей стороне быть.

— А ты, выходит, за порядок платишь? — спросил Виктор так же тихо, так же осторожно, стараясь не спугнуть.

Они стояли друг против друга посреди тёмной, заснеженной улицы: бывший подканцелярист в нагольном тулупе и овчинной шапке, и сержант гвардии, коренастый, шрамолицый, с глазами, в которых отражался далёкий, дрожащий свет фонарей — две человеческие фигуры, две судьбы, которые случайно пересеклись в этом февральском Петербурге и, может быть, останутся в памяти друг у друга навсегда.

— Я за Россию плачу, — ответил Щепотьев глухо, и в голосе его было столько тоски, столько безнадёжности, что Виктору на мгновение стало страшно — не за себя, а за этого человека, который, казалось, уже всё решил и теперь только ждал, когда его решение приведёт к неизбежному концу. — А кому именно плачу — это уж моё дело, моя совесть. Ты вот что, Шумилов... Ты бы поосторожнее. За тобой следят. И не только мы, не только в полку. Твоё исчезновение многим показалось подозрительным. И твоё возвращение — тоже. Берегись.

Он резко повернулся и зашагал обратно к гауптвахте, увязая сапогами в снегу и не оглядываясь, не прощаясь, словно их разговора и не было вовсе. Виктор остался стоять в темноте, глядя ему вслед, и в голове его вертелась одна-единственная мысль, тяжёлая, навязчивая, как зубная боль.

Этот сержант из списка подозреваемых, возможно, вовсе не враг. Возможно, он — колеблющийся. А колеблющихся в такой борьбе всегда больше, чем убеждённых, больше, чем преданных, больше, чем купленных. И тот, кто сумеет перетянуть их на свою сторону — не деньгами, не угрозами, а чем-то другим, чем-то, что заставит их поверить, — тот и победит.

Эту истину Виктор помнил из истории. Он сам когда-то написал об этом статью в «Вопросах истории» — о роли колеблющихся элит в дворцовых переворотах XVIII века, о том, как часто исход борьбы решали не те, кто был верен, и не те, кто был куплен, а те, кто боялся и колебался. Тогда это была теория, стройная, логичная, подкреплённая сотнями сносок. Теперь — живая, дышащая, опасная практика.

XIII

Извозчика он нашёл быстро — тот самый мужик в рваном треухе, что привёз его в слободу, мирно дремал в санях, натянув на уши драный тулуп и спрятав руки в рукава. Лошадь стояла, понунив морду к самой земле, и, кажется, тоже дремала, изредка вздрагивая и перебирая ногами. Виктор растолкал возницу — тот закричал, забормотал что-то невнятное, но узнал седока и спросил только: «Куда?» — и назвал адрес — особняк Меншикова на Васильевском острове.

Докладывать светлейшему было пока рано — но несколько имён, несколько предварительных выводов и, главное, то странное, зыбкое ощущение, которое он вынес из разговора со Щепотьевым, уже сформировались в голове и требовали осмысления. Кроме того, после встречи с Козловым и таинственным человеком в капюшоне нужно было предупредить князя: интерес к Шумилову стал известен врагам. Или станет известен в самое ближайшее время — и тогда все его действия, все его шаги будут под подозрением. И ещё одно: кто-то справлялся о нём в монастыре. Значит, у Долгоруких есть глаза даже там, даже в святой обители, где, казалось бы, можно укрыться от мирских интриг. Это меняло дело. Делало его опаснее, сложнее, запутаннее.

Час спустя, когда особняк на Васильевском уже погрузился в полумрак и только кое-где в окнах горели свечи, Виктор стоял перед Меншиковым в том же кабинете, где они говори-

лись днём, и кратко, по-военному, докладывал о событиях в слободе. Он не упустил ни одной детали: ни разговора солдат о деньгах Долгоруких, ни намёка на ссылку в Берёзов, ни того, что Козлов говорил о «порядке» и «законе», ни странного человека в капюшоне, который, казалось, знал о новгородских описях больше, чем следовало.

Князь выслушал его молча, не перебивая, не задавая вопросов. Лицо его оставалось бесстрастным, почти скучающим, но пальцы правой руки, как заметил Виктор, выбивали тихую, нервную дробь по эфесу шпаги, висевшей у пояса, — и это был единственный признак напряжения, единственный намёк на то, что происходило в душе этого человека.

— Значит, Щепотьев сказал: «Есть и такие, кто за порядок», — повторил Меншиков задумчиво, и в его голосе послышалась та новая, непривычная нота, которую Виктор не слышал в нём прежде. — Это интересно. Очень интересно. Щепотьева я считал человеком Долгоруких — верным, купленным с потрохами, таким, у которого нет своей воли. А он, выходит, сам по себе. Не куплен, а колеблется. Это даже ценнее, чем верный человек, ибо верного можно потерять, а колеблющегося — приобрести.

— Он напуган, — заметил Виктор, и в этих словах не было ни торжества, ни надежды, только констатация факта, которую он вынес из разговора. — И, кажется, ищет, к кому прикнудить. Но ищет не того, кто больше заплатит, а того, кто окажется прав. Или того, кто сумеет убедить его в своей правоте.

— Правых у нас нет, — усмехнулся Меншиков, и усмешка эта была горькой, такой горькой, какой бывает у человека, который видел слишком много лжи и предательства, чтобы верить в правду. — Есть только те, кто победит, и те, кто проиграет. Третьего не дано. Но если Щепотьев ищет правого — что ж, пусть ищет. Мы ему эту правду предъявим. Сделаем так, что он увидит её своими глазами. Ты, Иван Григорьевич, продолжишь ходить в слободу. Но теперь — осторожнее. Вдвое осторожнее. Слишком быстро ты примелькался, слишком скоро тебя запомнили. То, что ты исчез тогда и теперь возник снова, — это плохо. Люди Долгоруких насторожатся, и в следующий раз тебя могут не просто допросить, а взять за горло. Завтра пошлём туда другого человечка, пусть покрутится среди солдат, послушает, что говорят. А ты займёшься иным.

— Чем именно, ваша светлость? — спросил Виктор, и в его голосе не было ни любопытства, ни страха, только спокойная готовность делать то, что прикажут.

Меншиков обернулся от окна, и в его серых глазах мелькнуло то самое выражение, которое Виктор про себя назвал волчьим: оценивающее, не пропускающее ни одной детали, ни одной мелочи, такое выражение, которое бывает у человека, когда он решает, стоит ли доверять тебе самое важное.

— Ты говорил давеча, что неплохо разбираешься в родословных, в том, кто кому свояк, кто кому брат, кто на ком женат. Это правда? Или ты прихвастнул, чтобы казаться умнее?

— Правда, ваша светлость, — сказал Виктор, и в этом «правда» была та твёрдость, которую не купишь и не подделаешь. Теперь можно было не скромничать. Скрывать свои знания, ту самую эрудицию, которую он копил годами, перелопачивая горы архивных дел, было бы глупо и опасно. Знания были его единственным капиталом в этом мире, его единственным оружием, его единственной защитой.

— Тогда займёшься Голицыными, — сказал Меншиков, и в голосе его прозвучало то напряжение, которое бывает у человека, когда он касается самой больной, самой опасной темы. — Князь Дмитрий Михайлович, старый лис, затеял что-то бумажное, тихое, незаметное, но, судя по всему, крайне опасное для всех нас. Ходит к нему немец-законник из Гёттингена, некий Беккер, толкуют о каких-то «кондициях», о правах, об ограничениях. Я хочу знать: что за кондиции, кто за ними стоит, кому они выгодны и когда их собираются предъявить.

— Кондиции? — переспросил Виктор, хотя мысленно уже сопоставлял факты, соединял точки, и картина, которую он видел, была настолько ясной, что ему стало не по себе. Реальные

«кондиции» — тот самый проект ограничения самодержавной власти, который должен был превратить Россию в конституционную монархию, — появятся лишь через пять лет, в 1730 году, при Анне Иоанновне, когда Верховный тайный совет попытается поставить императрице условия. Но здесь, в 1725 году, Голицыны, похоже, начали разрабатывать эту идею раньше, намного раньше, чем считалось в официальной истории. История уже пошла по-другому — или он просто не знал о ранних, подпольных стадиях этого грандиозного замысла.

— Кондиции, — повторил Меншиков, и слово это прозвучало как ругательство. — Слово латинское. Означает условия, договорённости. Князь Дмитрий, видать, хочет поставить государю — или государыне, — условия, на которых он согласится принять власть. Я этого допустить не могу. Ибо если Голицыны и Долгорукие ограничат самодержавие — кто тогда будет править? Они. А я тогда буду никем. И ты, Иван Григорьевич, тогда будешь никем. И все мы будем никем.

Он помолчал, глядя куда-то в стену, и лицо его было таким, что Виктор не решился бы нарушить это молчание. Потом князь сказал уже спокойнее, деловитее, возвращаясь к делам насущным:

— И вот ещё что. Через два дня государыня устраивает малый приём в Зимнем дворце. Ты будешь присутствовать там как мой секретарь. Увидишь всех, кого тебе надлежит знать в лицо: и Голицыных, и Долгоруких, и Толстого, и Апраксина, и всех прочих. А заодно познакомишься с одной особой, которая может быть тебе весьма полезна в твоей работе.

— С кем именно, если не секрет? — спросил Виктор.

— С моей свояченицей, Варварой Михайловной Арсеньевой, — ответил Меншиков, и в его голосе впервые за весь разговор послышалось что-то человеческое, почти тёплое. — Она при государыне состоит, в ближних. Умна, глазаста, знает то, чего порой не знаю даже я. Присмотришься к ней. Она тебе пригодится. И ты — ей.

Меншиков сделал паузу и добавил с нажимом, с той особенной интонацией, которая не терпит возражений:

— Только, Иван Григорьевич, без глупостей. Ты человек новый, неизвестный, незнатный. При дворе тебя станут пробовать на зуб, как собаки пробуют нового пса в стае. Не поддавайся. Помни: у тебя есть только один покровитель. И этот покровитель не прощает неверности. Ни в чём.

Виктор молча поклонился. Что тут можно было сказать? Всё было сказано. И всё было ясно.

XIV

В приёмной его нагнал Гурий Волков — уже без обычной своей полуулыбки, без той лёгкой, снисходительной насмешки, которая обычно играла на его тонких губах, а с озабоченным, почти встревоженным лицом. В руках он держал связку ключей и свечу в медном подсвечнике, и тени от этой свечи плясали на стенах, делая лицо секретаря ещё более чужим, ещё более непонятным.

— Велено передать, — произнёс он бесцветным, канцелярским тоном, каким говорят о самых обыденных делах, — что для вас приготовлена комната в западном крыле. Вещи из монастыря уже доставлены, все бумаги переложены в стол, ничего не пропало. Ужин подадут через час. Завтра в восемь утра жду вас здесь же, в приёмной. Будете заниматься бумагами — разбирать донесения, составлять реестры, учиться отличать нужное от ненужного. Светлейший велел пока не высовываться, не привлекать к себе внимания. Пусть страсти улягутся.

Виктор кивнул и двинулся за слугой — за молчаливым, бесшумным человеком в тёмной ливрее, который нёс свечу впереди, освещая путь, — по длинным, гулким коридорам особняка, мимо портретов, мимо тяжёлых дубовых дверей, мимо часовых, застывших у каждого поворота.

Комната, куда его привёл слуга, оказалась небольшой, но вполне обжитой — не казённой, не промозглой, а той, в которой уже кто-то жил и, должно быть, жил не один год. Кровать с пуховой периной, такой высокой, что на неё нужно было забираться по ступеньке; дубовый стол, покрытый зелёным сукном, с чернильным прибором из тёмного стекла; шкаф для платья, резной, с зеркалом в полный рост; кафельная печь, испускавшая ровное, сухое тепло, которое приятно грело спину. На стуле, у самого входа, лежал аккуратно сложенный новый камзол — тёмно-синий, без шитья, но из добротного, дорогого сукна, с простыми оловянными пуговицами, на которых был выгравирован крошечный орёл. Рядом — пара шерстяных чулок, батистовый шейный платок, такой белый, что глазам было больно, и туфли с серебряными пряжками, блестящими в свете свечи.

Виктор сбросил тяжёлый тулуп, сел к столу, вынул из походной чернильницы перо и взял чистый лист бумаги — плотной, верженой, с водяными знаками, той самой, на которой писали важные донесения. Привычка историка — фиксировать наблюдения сразу, пока они свежи, пока не стёрлись из памяти, пока не смешались с другими, — брала своё, и он начал писать, почти не задумываясь, мелким, убористым, почти каллиграфическим почерком, которым писал настоящий Шумилов, и который теперь, после нескольких дней практики, стал и его почерком тоже:

«Преображенский полк. Состояние тревожное, граничащее с паникой. Разброд в умах, офицеры не доверяют солдатам, солдаты не доверяют офицерам. Колеблющихся больше, чем верных. Недовольство скупостью Меншикова — заметно, и этим недовольством умело пользуются Долгорукие. Влияние Долгоруких — через денежные раздачи, через обещания земель и жалованья. Щепотьев — возможный союзник, но требует убеждения, а не приказа. Козлов — вероятный враг, умён, опасен, держится в тени. Человек в капюшоне — ключевая фигура, знает о новгородских описях, справлялся обо мне в монастыре. Возможно, тот самый Беккер? Или кто-то из Голицыных? Требуется отдельного выяснения.

Голицыны — готовят кондиции. Проект ограничения самодержавия. Дмитрий Голицын и немец-законник. Нужно узнать детали.

Двор: малый приём через два дня. Арсеньева — свояченица Меншикова, при императрице. Возможный ценный контакт.

Главное, самое главное: Настоящий Шумилов до болезни активно работал и у Долгоруких, и в слободе. Был своим и там, и там. Его исчезновение связали с болезнью государя. Теперь его возвращение — под большим вопросом. Если когда-нибудь вскрыется, что он работал на две

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.